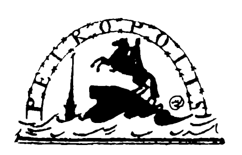

PETROPOLIS

НИК. НИКИТИН

НОЧНОЙ ПОЖАР

РАССКАЗЫ

Копоть и пламень в эти удивительные, незабываемые года обжигали родное . . .

(„Пелла“)

1924

Настоящая книга отпечатана для
Издательства „Петрополис“ в
типографии Фейльхенфельд А.-О.
в Берлине в сентябре 1923 года.
Обложка работы Б. С. Аронсона.

ОТСТУПЛЕНИЕ

РАССКАЗ

Город — золотой пыльный котел. Песок садится в горло. С непривычки оно болит. В зное плавает ветер, плавает тихо — как шмель над прудом. А пруд — что идет от плотины и зовется Исетским, сверкает кусками — рыбы полощатся в нем, перевертываясь от радости животом кверху, к солнцу.

Город тих, он плавится под солнцем. Совсем далеко, как не здесь, отдаленно бьет глухая канонада. Но в нем тишина. И над ним тишина. А в тишине, зажигая крылом небо, летает над городом черная неизвестная птица. И когда слишком близко подлетает она к солнцу, — кричит от страха. А, может быть, от гнева, а, может быть, от боли кричит черная стройная птица с резким, острым крылом? Птица мечется в небе—и небо уставшее, полукрепкой закалки с серым налетом — как остывший паружный пепел, не может скрыть птицу. Но и птице не сжечь, не разрезать неба. И в этом вся тоска и тревога. И оттого по окраинам города на зубцах котловины, где стоят по Исети заводы, плещет черной угольной пылью заводский тихий ветер. В нем тоже тоска и тревога. А птица рвется, и стонет, и кричит проклятому солнцу, что оно не может быть спокойно, когда она умирает, что оно должно потухнуть.

Трубы с Верх-Исетского молчат. С Монетного молчат. Там плотные и темные дороги, блестит их угольный траур от солнца. И старые пузатые стены, что вросли

в землю, как болваны, может-быть, при разгульной и хозяйственной царице Екатерине — как глухие и ненужные старики сочатся в солнце красным, где кирпич, и снегом — где побелка.

У пруда на плотине раскинут пыльный серый сквер. На дорожках насорено от костров, еды и людей, — круглые сутки стоят у плотины караулы.

Деревья грубее и тверже мочал. Мочала простая и серая, грубая—такою скребли когда-то в банях купцам поясницу. И на чугуне решетки, что выходит на воду пруда — пыль, и на губах рабочих караулов, где губы как из чугуна, тоже пыль. Эта пыль мелкой лентой бьется за колесами обозов. В грохоте — когда кряхтит повозка по Соборной площади—страх. Но от притаенности города уши караулов не слышат грохота. И мимо них жужжат по пыли, скучнее ос, сапоги последних отходящих эшелонов. Идет эвакуация. Город сдают. И люди в шинелях идут, как пыль, и те, что остаются еще немногие оставшиеся часы на карауле—тоже как пыль, — чтобы тоже взметнуться за этим строгим черным угольным ветром, решившим бросить заводы. Ветер нем и суров — потому что крепнет день. Одна эта птица гневно клянет солнце, чтобы оно потухло, сожглось, когда придет сюда смерть, когда она дежурит рядом, но солнце не тухнет. Проклятое солнце льет звонкое, тягучее, как слизь — и тяжелое золото на дома, но дома — многие в ставнях, туго закрыты двери. Город закупорен этими домами, что бутылка — и караулы думают, что каждый дом как бутылка полон ненависти к ним. Еще серее ложится пыль на губы.

Василий Бабенкин, — красноармеец, — сказал:

— Раздрать бы его на двое, сукина сына в... лоск.

Но ему Ергун — машинист, ответил.

— Будет дурака валять. На всегда, что-ли... А вернемся...

И Василий Бабенкин плюнул и бросил в кусты ружье, посмотрел в воду и увидав, как из воды от густого мутного дна через тину поднимаясь, играет на глади жирными животами рыба, опять плюнул. И на плевок кинулась стая.

— Ишь, нам дома купеческие не надоть...

И поправив вылезавшую из сапога портянку, сказал Ергуну.

— Дедка, пойтить нам, штоли... Смотри народ бегеть.

И не дождавшись ответа, пошел за чьим-то обозом. Ергун глядел, как дергались у Васьки короткие плечи, когда встряхивало повозку, (Васька уж там уселся), — подумал. Вытащил ружье из кустов и бросил в пруд. Оно не сразу пошло ко дну, зацепившись штыком в тине; вот унялась рябь и тогда маленькая рыбешка-колюшка подползла к нему, точно принюхиваясь. И ходила, крутя хвостом около ружья, не понимая.

Ергун смотрел как жутко скрипят колеса. И знал, что в слободе и заводе от этого мутного скрипа еще тяжелее тревога и тоска. Проскакал, подпрыгивая по камням площади, веселее мячика чей-то бешенный, засеревший пылью автомобиль — и пронесся. И Ергун не остановил его, чтобы спросить пропуск.

Он сидел сложив ружье к ногам, на зеленом деревянном барьерчике, выискивая куда бы пойти. Но вставала перед глазами пыль — тяжесть и ожидание страшного года и вместо того, чтобы свернуться и спрятаться, он сидел и думал про Ваську.

«Эх, дурак... Разорить всякий может. Не то беда, что голова молода, а то беда, что боится худа».

С углового желтого здания, где был когда-то окружной суд, вышел человек в желтой нанковой кепке. Оглянулся и побежал по Главной. И за ним побежала пыль.

Но на плотине его задержал Ергун и сказал: «Не пущу»... и выставил штык.

Человек засмеялся, отведя у старика ружье, как игрушку.

— Иди, дурак, домой, пока можно... Не узнал. Ну, я тебе говорю иди.

— Не признал...

— Ну и ладно. Иди.

Человек в нанковой кепке был член военной секции РКП, — а фамилия его Антон Черняк. А смеялся он потому, что на душе было и страшно и странно. И смешили чужие на ногах ситцевые штаны и то, что выбрил себе всю голову на-голо, как татарин. И ветер по новому касался щек и губ. Может быть оттого он щипал так непривычно и холодно, что нынче пойдет все поновому. А в сердце еще прятались надежды. Черняк оставался в городе и надо было проболтаться день или два бродягой, не заходя ни на какие квартиры, кроме одной, где жил свой китаец Лю-И-Сан, за кладбищем и за горой. А потом надо было таиться, пока будут искать, а потом устраивать конспирацию и связь. Когда сердце молодо, жизнь человека кажется длинной, как катушка...

Человек этот, в нанковой кепке, Антон Черняк, смеялся. А над городом совсем низко опустилась черная кри-

чавшая птица. Но никто не видал ее. Ни те, что уходили в эшелонах, ни бабы, мирно полоскавшие белье в пруду, ни Ергун, ни человек, смеявшийся на свои штаны, и на страх.

В доме на Клубной улице, сером и тяжелом — тоже тишина. Под'езд перехвачен наискось штангой. И ворота стоят глуше камня. Ставни, как веки. И можно думать, что дом дремлет. Сон его прочен и дубов и тяжек — как это дерево, из которого срублен он еще стариком Домрачевым, Василием Семеновичем, и каждая щелка в доме, каждая тесинка густа—гуще молока тем, чем крепок и густ сам Домрачев Василий Семенович. Дух этот старый: от Николы-корабля, от старых разгульных кабаков, золотых россыпей, где скандалы, убийства, смерти. Пустынного раскола дух, пустынных старых лесов, где звон деревянный и крест о восьми концах и строгое жестокое моленье и где дух нашел себе отдушину на - миру — в кабаке, где нагуляв, набражничав, исхлестав своей пьяной похабью даже старых кабацких баб, истовые люди опять принимались за пост и моленье и за дело — где наживали на людях, на хлебе, на конях и на золоте, на всем, что попадало в руки. Старик вял нынче и плох, хуже прелого прошлогоднего сена. Но нынче в этот особенный день, когда все чего - то ждут в этом доме, даже старик, невыходивший из загона, вдруг в почтении. Девочки — Дора и Тала бледны. И мама, полная Артемида Васильевна. И зять старика, муж Артемиды Васильевны — бледен. Но он хочет быть бодрым. Он кричит громче, чем надо.

— Не бойтесь, дети. Нас не зарежут. Мы зарежем. А я - то, я - то...

И он, фыркая, вытаскивает тяжелую, медную доску. На доске надпись —

Варлаам Никитич
Антоновский

Правление Оренбургских Золотых
Приисков.

И открыв ее, как тайну, стирает с нее полой фартука пыль. И стирая ее — стирает память об уходящем и неприятном ему годе. И долго скребет по плесени на меди сухим ногтем.

И полная мама Артемида Васильевна нюхает соль: «Ты думаешь серьезно, Варлаша, что не будет террора». Каждые пятнадцать минут через сад в заднюю калитку бежит Агашка, чтобы взглянуть на улицу, где отходят из города советские эшелоны, и говорит хозяевам: — гонится их сила... бегут.

Семья крестится. И Варлаам Никитич, соскребывая плесень, уже с каждой минутой решительнее успокаивает своих.

— Нет, теперь они не успеют... Досочку-то мы приколотим опять, а это, ребята, здорово.

Так сидели они в самой темной, в самой скрытой комнатушке особняка, где жил только дед и где окна выходили на задворки и курятник.

А в это же время через слободу отступали рабочие дружины. И бабы, как отава, и старые — как лопух, и бабки — что суше и темнее завалящей головни, вопили вслед.

— Голубчики, праведные, пошто кидаете... Ой, не видеть мне ни дню, ни вечеру...

Но напрасно бежали бабы, и ребята прыгали за ними в вое и страхе напрасно.

Черная дорога слободы должна быть Черной и страдной — это старая ее судьба. А те, кто раз взял винтовку в руки, должен был покинуть и бабу и ребят, или девку, что гуляла летом, и на берегу при песне и при июньских росах не могла никак устать с милым. Но эшелоны уходили твердо (— и долго ли бабье горе..?) — «Увидимся бабка чать... Не на век, брось».

В этот же час, в другом краю, где вокзалы Пермской дороги (старый и новый) — вдруг дрогнул залп, и дрогнули вокзалы, и за залпами дрогнуло небо. И дрогнули в соборе стекла.

Но опять тишина. Только нет черной птицы. Ушла она или спустилась, никто не видел.

Еще час молчал город, тот - что сидел в домах. Но в городе уже сновали новые люди с бело - голубой повязкой на руках. И пономари с соборных колоколен первые увидели это.

Этот залп у вокзала взял город. Но пономари боялись дернуть в колокола.

А там, где было все в тревоге и тоске, забилось в слободские норы. А на улицы собиралась расфранченная радость. Барышни Антоновские доставали из маминых шкафов, где всегда пахло нафталином, новые летние платья. И сам барин послал Агашку в сени почистить сюртук. И это так непохоже было на тоску слободских нор, что зверям, например, крысам, которые живут в городе — самый настоящий и дикий зверь в городе, наверно странно было смотреть на людей.

Только один дом в городе был еще красный. Зовется он Харитоновским. Он стоит на площади — с невеселыми старыми колоннами, как дворец, со старинными

александровскими окнами в восемь стекол, насыщен, как старый сундук, поверьями, преданьями и тайной. И главная тайна — это тайный его ход, под землей. Он подходит к Исетскому пруду и идет подо дном, выходя в Монетный Двор. Дом этот—купцов Харитоновых. У него есть свой приятный аромат старины и в жутких его закоулках молодые непременно пугаются. Про ход говорят так — что тех, кого сживал со свету старик Харитонов, бросали из подземного хода прямо в пруд. Там же делались и хранились фальшивые деньги. Дом этот нынче интересно вспомнить, как старинную монету с мудренным хитрым вензелем, уже полуистертым, оттого, что прошла она через многие тысячи рук. Так дом богат старой, бывшей в нем жизнью. Кажется будто она сидит до сих пор в его шершавых стенах. Но лучше всего описан он Маминым - Сибиряком в «Приваловских миллионах». Это были — миллионы Харитонова.

Вот там засели матросы, не успевшие уйти. И когда дом обстрелен был со всех углов белыми, они отвечали долго и упорно. Пули щелкали по штукатурке, отстукивая от харитоньевских стен белые известковые облачка. Но с крыш и окон встречал новый залп. Стреляли матросы пачками с крыш и окон. К дому сбегались белоголубые. Два солдата, колченогих и круглых, ругаясь матерно на всю площадь, везли за веревочку, точно упрямую козу, пулемет. Они шли от реки, чтобы поставить пулемет под прикрытие стоявшего в яме Ипатьевского особняка на Вознесенском, уходившим круто вниз на Исеть. Полторы недели тому назад здесь в подвале был расстрелян Николай II. Отсюда же начался обстрел матросов, державших последнюю красную цитадель. От выстрелов голуби тучей, легче голубого го-

роха, взлетали над колокольней соседнего собора и кирки.

И как не ожидали тогда залпа у вокзала среди тишины, так и здесь вдруг сразу все смолкло. Солдаты бросились в дом с двух сторон — с сада и улицы.

Недаром в этот день кричала проклятие солнцу черная неизвестная птица.

Матросов ловили в этажах, в тайничках, в антресолях. Некоторые из них судорожно забились в подвалы, может быть, разыскивая там тот самый подземный ход, о котором говорили поверья. Земля не пустила — и они кончали с собой, вставляя дуло винтовки в рот и нажимая на курок ногой. И стало в этом доме, построенном на народном поте, костях и крови, еще больше смерти и крови. Один из матросов, спасаясь, побежал по саду. И когда кинулись за ним солдаты — ушел в пруд — за сад. В пруду было мелко, но его не нашли. И шарташские бабы, двести лет торгующие малиной из старого кержацкого села Шарташей за городом, говорили потом на базаре: — «Матрос на ход наскочил... в воде»...

Вечером гостинницы были заняты под офицеров, пошла игра, огни и гулянье. И девчонки городские сходили с ума от невинности.

А на черных улицах Верх-Исетской слободы темно — тоска и тишина. Одни угольные кучи и чернее угля над ними июльское небо.

Это было 25-го числа, когда зреет по увалам и логам лесная земляника. И когда ночь пахнет ночью, и запах ее сильнее дурмана.

В эту же ночь, когда на кладбищенской горе у могил зрела полянами меж сосён земляника, под горой в тюрь-

ме, что стояла над городом, казаки расстреляли пленных матросов.

И в эту же ночь тут же под горой за цирком — в ларьке, где торговал стрючками, квасом, карамелью и папиросами Лю-И-Сан, произошло следующее:

Антон Черняк — Р. К. П. — пришел на ночевку к китайцу. За крытым ларьком у китайца была пристроена каморка. По середине каморки стояла чугунка, на чугунке таганок. Сбоку у стенки брошен был войлок для спанья, а по другую стенку привалилась к доскам промятая соломенная корзина. Стоять в каморке нельзя. Когда туда вошел Черняк, Лю-И-Сан молча показал ему глазами на войлок. Черняк лег.

Лю-И-Сан на корточках сидел перед чугункой, мешал ложкой в таганке и тихо лаял про себя по-собачьи.

— Ге, хе, вай-си-лай-лай...

Пел он о голубой реке, о белой вишне и о красном дьяволе. Но Черняк не понимал его. Черняку хотелось спросить китайца о чем поет он, но китаец не отвечал: китаец наслаждался ночью и тишиной. От огня пекло кофту. И пар шел от сала на кофте. Китаец теснее сжимал ноги и визжал в огонь. Черняк не вытерпел и крикнул китайцу.

— Не скули, чорт.

Лю-И-Сан, сжав в кулак лысое, серей картошки, песчаное от оспы лицо, засмеялся.

— Колоса твалиса...

И подняв седые дуги бровей, долго видимо думал о чем-то, мешая в котелке. И шептал в печку, заклиная огненного духа. А на дороге помогали ему чьи-то звонки. И от этого сжималось сердце у Черняка, как у китайца ноги — и казалось, что пойдут с сегодняшнего дня для него ночи незнакомые и странные. И вот в ту

минуту, когда понял впервые за сегодня страх, в ларек забарабанило несколько кулаков.

— Ей, китаеза есть?

Сердце упало у Черняка в прорубь и замерзло (... «готов»).

Китаец усмехнулся и пальцем ткнул Черняка в корзину. Черняк видел: щелкнули глаза у Лю-И-Сана, как замки. И подумав: «продал, стерва» ... он все - таки полез в корзину.

В корзине пахло остро, что от гнилой травы (— «конец ... продал стерва») ...

Звякнули у порога шпоры и голос, гладкий и твердый — из кости, спросил у китайца.

— Что это у тебя?

— Мюсика.

— Что?

— Мюсика.

Опять пропищал китаец.

— Какая мюсика?

Шпоры звякнули рядом с корзиной.

И китаец ответил также спокойно и пискливо, точно он играл или не умел разжимать старых из'еденных губ.

— Мюсика ... мюсика.

Тут с улицы пристал другой голос.

— Это, наверное, он мышь варит, поручик ...

— Ах, мышка, мышка ...

— Мюсика, мюсика. Хе ...

Засмеялся китаец.

Поручик тоже смеялся, но твердо и резко. Так стукаются по биллиарду шары.

— Как же тебе не стыдно, ты бы хоть крыс варил, что ли ...

— Карис - са нету, нету петуна.

— Ну, давай, папиросы. Папиросы есть... открывай лавочку.

— Иесь, есь...

Голоса ушли за перегородку. Вот опять звякнули звонки. Тройка на улице тронулась. Лю-И-Сан вернулся в каморку, подождал, сидя на корточках у огня, пока опять не пришла сюда тихая ночь. А потом подполз к соломенной корзинке и выпустил Черняка. Китаец смеялся по - немому, как рыбы, и на лице растекалась к ушам сеть. Черняк ухватил китайца за лоб, чтобы поцеловать. И не мог — сырой лоб Лю-И-Сана пах также гнило, как сырые протухшие травы. Но Черняк, сдержав дыханье, наклонился к нему во второй раз, чтобы только прикоснуться губами. И прикоснувшись, застыдился себя.

— Уж, ты меня прости, стерва милая.

Китаец смеялся: «— сы - пи...» И показал на войлок. Черняк лег — подумал: — «что - ж... отступление кончилось».

Он уже начал засыпать, когда китаец снял котелок, чтобы с'есть суп из мышин. Долго и радостно хлебая суп, Лю-И-Сан тоже думал: «о родине»... А когда Лю-И-Сан думал, он всегда пел одну и ту же песню: о Голубой реке, о белой вишне и о красном дьяволе...

Эту песню сочинил сам Лю-И-Сан.

Утром дробь барабанов разбудила Черняка. Черняк взглянул в глазок каморки. В тумане — за серой сыростью ботвы на огородах — маршировали к городу чехи. Тоже сырые — туман. Они вступали в город.

Черняк решил: — Что - ж... начнем борьбу.

И свел при этом брови, тугие и черные, как задвижка. Свел их упорно.



ТРАВА-ПЫШМА

В сенях пахло старым - травою пышмою, ладаном и снегом. И никогда не высыхали от следов сени. Таял снег, когда теплые, пухлые двери растворяли из квартиры тепло. Этот год на суровом небе было прекрасное вышитое солнце. И дни в городе стояли каленые. В пожарных бадьях у рынка мерзла вода на морозе. А метлы — торчками — в бадьях, горели хрустально. Метлы эти были против пожара. Старый городской обычай.

Прошлым летом на горах не могли обобрать землянику и шарташские бабы, забыв свои огороды, обчищая кустарники от ягоды, наполняли ею тяжелые кузова. Так за городом в ветре (эти годы не перестает крутить ветер) крутая зрела ягода и от ягодного духу зрели спелые бабьи губы, чернели ягодой глаза. В духу, в ягоде, истомленные июлем, бабы ложились в кустах. В кусты же приходили серые чехи, с серыми и жесткими, что лесной лен, усами — чтобы томить сладостью баб.

Под говор наливалась земляника и ягода у нее была на укромных и тайных местах — полная и бесстыдная.

Легкими горными вечерами, когда сиреневые горы за городом тянулись туманной, сквозной ниточкой, и неопределенные, что вода, ивы, ставшие у набережной Исети, теряли вялый свой лист, и у Исети, где деревянная мавританская мечеть, у берегов уж начала осенним хо-

лодком париться вода, вот тогда осенью хозяйки считали банки с вареньем и с ягодами. Укладывали их по счету в чуланах. И весь июль, со всем бабьим томлением и сладостью и духом сочным — вместе с этими банками укладывался на чуланных полках. Так хоронили хозяйки в сытых домах сытый июль на полках в банках.

И город, дожидаясь, когда ветер рассыпет по палисадам, дворам, и улицам снег, когда увидел город вышитое в небе, что рябина солнце, тогда город сказал:

— Варенья нынче нам хватит...

И пробуя первую ягоду алели сладкие губы хозяек.

И снова прятались банки по полкам.

А в Екатеринбургских улицах от 12 до 4-х на военных разводах караулов ловко щелкала дробь чешских барабанов.

В доме, что на Клубной улице, в доме сером и старом, и крепком, как колода в кержацком скиту, в доме с глухими воротами, с запасом, с караулками, с железными иглами по забору, с чугунными штангами и закладками, в доме, где висела у крыльца медная — как каска — дощечка, а на дощечке —

Варлаам Никитич
Антоновский

Правление Оренбургских Золотых
Приисков.

... в этом доме старик Домрачев, сидя в глухой и темной своей комнате, в мягкой качалке, учил Талочку.

— Ты, внучка, слушай. Если мухе отхлопнуть живот, она может жить без живота.

Домрачев был в ватных штанах, в валенках, и в ситцевом стеганом халате.

— Ты меня понимаешь, Талочка?

Талочка поглядела на фикус, на голубя, что слетел с крыши к подоконнику, и вспомнила, быть может, лето.

У голубя глаза и лапы были красны — как кровь, и Талочка ответила деду.

— Понимаю.

В руке у нее был томик Шницлера, перекинув с руки на руку, она спросила:

— Вам может быть хочется чаю?

Когда горничная Маремьяна поставила на столик большую чашку с васильками, с надписью — «Пей до отвалу» — а к чашке вазочку, за окном уж держался серый солнечный, как голубь, вечер. И Талочка опять вернулась в глухую комнату к деду.

Дед был недоволен.

— Вчера отец твой мне сказал. Ты, говорит, старый огурец. Мне и в столовую неприлично. Что у них там, говори. Трень - брень шпоры. Это отцу то огурец... Нумизматы, аристократы.

Талочка улыбнулась. А дед опять рассердился.

— Ты что смеешься, я тебя знаю.

Пил чай Домрачев очень долго — глоточками. И каждый глоток заедал вареньем, по большой ложке, десертной. И на лице у него краснели жилки и надувалась кожа — как перья. Потела от жары и от ягоды шея.

— Ты девчонка. Вот выдешь замуж, я тебе порасскажу такое... Принеси ка еще чаю. Да пусть мать наложит гуще, все небось жадничает, все от меня получили, а теперь хотят избавиться. Ну - ну, дай шейку... Белехонькую.

И Талочка вытирала в коридоре платком поцелуи. Губы у старика были в варенье, ягодные.

В доме шла уборка комнат — поэтому Талочка опять вернулась к старику. Завтра именины отца Варлаама Никитича. Будет обед и вечер.

В углу, где на окошке фикусы, в сумерках, слушая, как сыпет сыростью вечер, Талочка читает:

— Право, надо было поступить, как моя подруга Фритцль со своим бароном; он до сих пор ничего не знает, а между тем она уже три месяца ведет интрижку с лейтенантом 5-го гусарского полка.

— ... С лейтенантом 5-го гусарского полка...

Думает Талочка.

А за окнами русыми косами падает ветер, сметая в палисадник первую легкую снежную пелену, снимая ее белую с кустов, под ловкий и нежный свист, как щеголь. У ноябрьского ветра — щегольской свист.

На стене у деда старинная копия с картины Моллера «Поцелуй». И в поцелуе налиты губы как ягоды. И от 15 лет у Талочки, от томика, где умеют любить Фритцль, от «Поцелуя» на стенке и еще от сотни других книжек, и еще от нежного и веселого июля, вплывшего совсем недавно в комнату, как полная мама Артемида Васильевна —

— Это было утром, в Петров день по старому стилю. Вплыла мама, села на кровать и оправляя одеяло, улыбнулась дочке:

— Наташка, ты ведь женщина. В 15 лет я была уже замужем. Мама сказала: «Ты уже женщина». И будто удивилась мама. И кончила очень спокойно: «Тогда он еще не собирал монеты».

Так она говорила про отца, Варлаама Никитича. В этот день еще другое сказала мама, когда они были

в клубном саду: «Смотри, смотри. Дорка гуляет с капитаном Карасиком». И улыбнулась мама желтому банту на платье сестры. Прижавшись как подруги, следили они за Дорой. И когда кивал где - то в темных аллеях совсем неожиданный желтый бант — прижимались они друг к другу теснее. И мама целовала Талочку, и от лица мамы вкусно пахло духами и пудрой. И когда сейчас думается про это, то думается так:

Это наверное грешно...

— Вот от всего этого уж три, и даже четыре месяца, Талочка ходит, налитая июлем, темной аллеей, книжками, а по ночам набегают вздорные сны. И хочется ласкать себя ночью. А по дням опять живется с книжкой, где - нибудь в удобных тихих углах, где синий темный воздух, где одиноко, как мыши бегут секунды.

Дед кончил пить. Облизал вазочку. Лицо заблестело, набухло, розовое, что бревно в воде. И от ваты кругом, от халата ватного и ситцевого, от ватных штанов, от валенок — горит у деда сердце.

Он скулит, как кошка:

— ... строцы в пещи огненной истаеваху ... истаеваху ...

Снимает валенки, рубаху, халат ...

— ... И - иста - еваху.

В кресле у фикуса, задернутая сумерками, уронив книжку в колени, ушла — задервенела в кресле, с глазами отпертыми, как шкатулки, такими же пахучими, как старинные эти шкатулки, кричит Талочка.

— Дедушка, Василий Семенович.

Дед сорвался, вытоптывая в бешенстве валенками.

— Девчонка, сволочь, шагу нельзя сделать, шпионят. Уйди. Уйди. Ты зачем тут. Как тебе не стыдно ...

Глаза у Талочки закрылись, захлопнулись — скрыли шкатулку. И на губах серая пенка, когда женщины, упав, вдруг плачут или смеются. Ее несет по коридору к маме, — чтобы рассказать маме. А мама, слушая, брызжет всеми жилочками, подбородками и даже розовеет и наливается полная мама, Артемида Васильевна, в шелковом платье, сочная и гладкая — как французская слива.

— Надо за ним смотреть. Ты папе не говори, неудобно. Неудобно, ты еще девочка.

И Наташа в этот вечер — часа два лежала между подушек — там у себя в мезонине, в голубоватой комнате. За окошками голубел вечерний или даже ночной иней. И в чердачных закоулках, где был мезонин, рядом с ним, прятались голуби. Юкали голуби, пели про ночь. Голубиная песня — тихая и странная. Перед сном Наташа записала в дневник: «Это ненормально, когда такие разные мнения. — Скверно быть девченкой».

На исходе четвертого часа скрипнула в комнате дверь, пахнуло морозом. Мороз был от малиновой шубки, от меха, к которому прилип снежный ветер. В тепле хорошо пахнет ветер — пахнет он тогда сиренью.

Это пришла Дора с бала (в Коммерческом собрании) из красного кирпичного дома.

Скинула на пол шубку, ботики, около ботиков быстро натаяла лужа (на улице ведь дождь, снег, грязь и ветер).

Еле - еле стянула платье. И так, в туфлях даже, в чулках, во всем — спряталась под одеяло. Потом уже, когда потеплели ноги, высвободила их из туфель одним движением, нога об ногу, и вышвырнула — ногой же — туфли из под одеяла.

— Наташа, ты спишь?

— Сплю.

— Поди ка ко мне, я тебе расскажу.

В чердачных закоулках проснулись голуби, хлопают крыльями и будто от хлопанья мигает лампадка. Как пружина соскочила Талочка. Подвернулась к сестре. Дора распустила волосы. И пока распускала, каждую шпильку держала зубами. И вот так — ртом, набитым шпильками, прошамкала:

— Шиводня Карас - шик прашил меня отдач - чя.

Наташа приподнялась, посмотрела сестре в губы. Губы ночью были черные и наверное сырые, как земля.

— И ты отдалась?

Сестра бросила шпильки на тумбочку — звякнуло.

— Нет.

— Почему?

— Я еще не знаю. А в городе говорят будет переворот за Колчака. Янек говорил. У чехов есть какие - то инструкции.

— А он тебя целовал?

— Целовал.

— Дора, ты не верь, все в городе целуются. Все целуются!

А за хитрым ажуром, за окнами плыл мимо туманный город, в белой пыли, точный, сколоченный по чертежу, плыл сдавленный в раме белых гор, замкнутый и развернувшийся широкими улицами в нагорьях, с большими, покатыми, как женские груди, площадями. Плыл в утренних сверкающих рассветах, с белыми соборами, с розовыми—как молодое тело—колокольнями и башнями Иоанна Златоуста, плыл в пьяной пыли, что неслась с сибирских трактов ветром, и ветер ставил паруса из града — и плыл мимо город в тот ранний или поздний

час, когда уже захлопываются пьяные усталые двери собраний и ресторанов.

Утро было мутное.

Дора шопотом рассказывала:

— Я еще не знаю... Но Сима отдалась Гесе, Липа — драгуну Чегодаеву, ты знаешь, Лия — Мамину драгуну... Валерия кажется — Китсу.

— Американский капитан?

— Американский. Это же бунт. Вот говорят революция. Вот революция. Даже Таня и Радионов, из эсеров... Это революция, я тебе говорю.

— А Рита?

— Про Риту говорят... Впрочем я не знаю, она скрытная. Но я знаю, наверное знаю. Говорят, что самое важное по глазам. В глазах, говорят, отражается.

— Наташа встала с кровати, плоская и худенькая, как косточка миндаля, и рубашка ночная, как на косточке.

И сказала.

— Я так вижу, что здесь не избежать.

В городе ходили ночные сторожа и били — каждый в свое било, чугунную дощечку. И у каждого била был свой особенный тон. Как у каждого сердца свой стук. И как каждое сердце стучит другому. Ночью поет этот город — тон за тоном. И неслыханный этот обычай неизвестно кем установлен... Может быть, первым военным постоем мушкатерных рот Петра I-го, или генералами женки Петровой — город стих на время большевиков, но нынче опять поет город пьяную скверную песню, поет всегда и в ветер и в стужу, и этому улыбаются чехи, американцы, колчаковцы, французы и итальянцы. И жадно слушают песню на росписных гладких улицах гладкие и сытые особняки. Сердце их

тоже ночной сторож. Сторож этот нерадивый, но тревожный.

Сердце это хочет жить всегда в июле, в месяце тяжелом и пьяном. Ему хочется перекинуть июль даже в ноябре, даже в суровую зиму, когда ягоды вянут и сохнут, но на морозе они тоньше и слаще. И от зимнего ветра с гор, где в кедровнике прыгает белка, прохожему человеку очень легко и очень бездумно. А в городе — ведь все прохожее, севшее мимолетно, как мухи на коровье вымя — чехи, американцы, колчаковцы, французы.

И даже Варлаам Никитич Антоновский говорит так:

— Что - то я перестал сокрушаться. Недавно хотя бы у нас тут все говорили: пролетарии, пролетарии перелетайте. Ну и улетели. А скоро может и мы полетим. Ничего. Нашему купцу пора брюхо согнать.

В заколоченном гостинном дворе, вставшем серым квадратом на площади, гудел ветер. Ветер к утру густел. Ночь ушла. Сторожа с билами спрятались. И нет уже песни на Покровке.

У серых квадратов Гостинного двора, за рогатками, где бадьи с водой, стоят чешские серые караулы.

— Стой . . . Стой . . .

Мимо, припадая как утка на ноги, едва позвенькивая шпорами, выплетая восьмерки, идет, конечно, с кутежа—коротенький и пьяненький ротмистр 25-го уральского драгунского полка Чегодаев.

И в утреннем ветре, как ягода, в затишье — слышно как поет ротмистр Чегодаев, — тоже пьяненькое и коротенькое.

— Девченочки, да куда котитесь
— Пошалите, пошалите и нарветеся. . .

* * *

Дни ноября холодные, мокрые и стеклянные. В кафе «Лоранж» за стеклянными холодными стенами, точно мухи у крошек на скатерти, у столов — офицеры. Сапоги блестящие, стеклянные. И на столах бутылки — стекло. У ротмистра Чегодаева — взгляд стеклянный. Он кричит девушке:

— Перемени... Эй, пупсик.

И своим соседям.

— Господа, чехи нам гадят, определенно гадят. Надо посчитаться. Вчера мы покончили бы с черновцами. А нынче они сговорили себе на охрану чешский караул. Боятся, сволочи... Будем ждать адмирала. Господа, здоровье верховного правителя. Эй, пупсик, еще...

И звенит поднятое стекло, и подзванивают стеклу шпоры.

Когда вышли они из кафе, на углу — на красном кирпиче «Воззвание к населению пленума с'езда членов всероссийского учредительного собрания».

Ротмистр Чегодаев вынимает шашку.

— Если я этих членов срежу... Проживем без членов... Так, господа? И режет шашкой бумагу. А офицеры смеются. А в бульваре ветер треплет на деревьях мочалу. И ротмистр Чегодаев с лицом белым и плоским, как тарелка, тоже смеется.

— Эх, члены, члены, кому вы члены...

Чегодаев шатается.

— Ну вот пусть ударят меня... Ну кто ударит... Вон мужик стоит... Эй, мужик....

Мужик на бульваре отвернулся, и спина у мужика была рыжая, выгоревшая. Так он и ушел этот мужик — ушел рыжей степенной спиной.

— Извозчик,... или пусть ивозчик... Почему меня никто не ударит...

А рука у Чегодаева на эфесе. —

— Чегодаев, бросьте. Неудобно, чехи идут.

— Чехи. Ах чехи, чехи, кому вы чехи.

Надел перчатки.

— Ну-с... Скучно на этом свете, господа — сказал Гоголь. Извозчик, в Американскую!

И от шин резко хлещет грязь. Ротмистр слушает, что в голове у него тоже что-то хлещет. Думает ротмистр.

— Пропойное дело.

* * *

Вечером, в гостинных, в столовой Варлаама Никитича — именины.

Под потолками мало воздуха и тяжело от вина. В мягких стульях, там — где софа, там — где тепло от нагретых печек и от вина, где волною уютною дамы — и из столовой веет чем то вкусным — но ничего больше не надо, кроме музыки, а в висках бегают иголочки — но это тоже от вина, и это тоже приятно — и потолки блестят белым, а рояль блестит черным, и из комнаты в комнату открываются двери, будто лопаясь. И чехи, замкнутые в пуговицы, в суконные пуговицы серых суконных кителей и точенный американец Китс, в очках круглых, как ведра, и в серебрянных погонах штаба — французы.

А хозяин, Варлаам Никитич, ходит с бутылкой кюммеля по гостинной — бутылка в руках теплая и ласковая.

Он забыл про нумизматику, забыл про все. Он добрый.

— Боже мой, Боже. Жить же прекрасно... Можно, Ян Янович? — спрашивает он, наклоняя бутылку к рюмке капитана Карасика.

— Капитан, жить прекрасно. Дорочка, дай капитану земляники.

И капитан Карасик снисходительно, по чешски, как хороший и довольный жизнью чешский офицер, улыбаясь, смотрит на живот Варлаама Никитича, где нижняя жилетная пуговка свободно отпущена.

А Варлаам Никитич уже посреди гостинной с бутылкой кюммеля в руке — жестикулирует, именно той рукой — где бутылка.

— Господа! Я о России говорю. Все мы за Россию, т. е. за лес и степь. Что есть лес и степь? Степь, как революция. Хотя бы, ну простите я плохо говорю, хотя бы 9-й век, 13-й век, господа. Степь — ведь злой эпизод русской истории, татарское нашествие, казацкая резня. Мы не за степь, хочу я сказать. Степь злой эпизод. Мы за лес... Темный лес, кормит, поит, обувает. И нам тепло... Кто сказал—Ленин? Нет Ленина... Что ему делать в лесу. Ленин хлопнет дверью и уйдет. Ей Богу, уйдет и плюнет. Нечего делать, какая же буржуазия— где? За лес, господа!

Артемида Васильевна у рояля начинает песню про негритенка и Варлаам Никитич сердится.

— Артемида, дай кончить. Все мы негры. И вот сегодня слышим: Колчак — правитель. Господа, это же Ленин хлопнул дверь. Конечно...

И, когда потянулись чокаться, чех Карасик сказал по немецки американцу Китсу.

— Эти дураки кажется пропивают себя.

А дамы хлопали Варлааму Никитичу.

— Остроумнейше, остроумнейше... Негры. Все мы негры.

И только за окнами, где фикусы — по Воскресенскому проспекту, под луной (луна была как военная медаль на ловком синем мундире), сухой этой ночью, гуськом на шестидесяти извозчиках ехали депутаты российского учредительного собрания — по одному человеку на извозчике, и около каждого депутата по два сопровождающих — чеха. Сопровождающие были с оружием.

Ехали они по приказу чешского командования. —

«В виду мятежнических действий с'езда, выразившихся в распространении от его имени воззваний к населению 19 ноября, совершенно недопустимых в прифронтовой полосе, так как они вносят тревогу в население и беспокойство и разложение среди войска, предлагается с'езду в 24 часа покинуть Екатеринбургский район . . . с поездом, отходящим из Екатеринбурга в Челябинск сего числа . . . Всем от'езжающим генерал Гайда гарантирует полную безопасность . .»

От гостиницы «Пале-Рояль», где арестованных выводили через две караульные цепи — чешскую и сибирских стрелков, шествие вытянулось с версту.

Чехи молчали. Сибиряки смеялись. И как зрители, стояли драгуны. И у драгун зло двигались брови, драгуны сыпали матерной бранью. Так уезжало в Челябинск российское учредительное собрание. Была уже ночь и на вокзале Екатеринбург 2-й стояли крепко натопленные теплушки, чтобы принять учредительное собрание. В теплушке, в качестве проводников те же чехи.

Депутаты не понимали. Что скажет Гайда в Челябинске? И было смешно — зачем едут, что выражать — волю России, милость Гайды, или себя?

* * *

Ротмистр Чегодаев только что пришел на именины, прямо с раз'езда учредиловцев.

В сенях у Антоновских, где пахло старым — травой пышмою, ладаном и ягодой, говорил Чегодаев.

— Господа, гулять! Погода чудесная. Лошади есть.

Чегодаев — в гостинной подошел к чеху Карасику, с улыбочкой.

— А скажите, пожалуйста, господин капитан, вы охрана или конвойный? Как вы членов везете?.. Повезли членов, туда к Гайде.

И, когда чех сухо и зло откинул плечо, ротмистр Чегодаев поднял брови в две скобочки — почти к вискам.

— Впрочем, лошади поданы. Это совсем неважно, господин капитан, неважно. Все равно там. Я знаю, господа.

И Чегодаев поднял палец, и пальцем написал в воздухе замысловатую восьмерку, как делают летчики при полёте.

— Господа, всем известно, что чехи известные революционеры и демократы... Да, да, да, да...

Теперь дамы хлопали ротмистру Чегодаеву.

— Остроумно, замечательно остроумно.

И тянули рюмки к нему. —

Когда вышли на улицу, Артемида Васильевна слегка пошатнулась у крыльца и сказала:

— Это с воздуха. Воздух то, как ягода.

И воздух тих был удивительно, и густ как в июле. И в палисаде зрела рябина морозом, и от нее, от хрупкой мерзлой земли, от вымершей лиственницы пахло больным и острым, а, может быть, пахло годами, когда женщина знает, что была молодость и вянет молодость, и что года эти—остры как бритва, тут Артемида Васильевна вспомнила:

— «Мне только 33 года». Улыбнулась себе, подумала (...я пьяная только 33 года...). Во мгле хрустят копытами лошади и точно сон, будто нет ничего, кроме рябины, кроме коней, кроме сладкой земляники и этих быстрых коней, готовых унести туда, где особенно холодна осень,—дальше, за дома, за город, где еще слаще пахнет кора, где земля глаже и рябина кружевата, как воланы — а около сидит капитан Карасик, курит трубку.

— Карасик, я пьяная...

Ян Карасик аккуратно затушил трубку и обернулся к Артемиде Васильевне.

— Я всегда.

И обнял крепче Артемиду Васильевну.

В часы — когда горькнет рябина, а мороз тронет ее иглой и нальется рябина кровью—в эти часы женщины думают о любви. В 33 года любовь — рябина ягода, сладкая горечь. Вяжет губы горьким соком, а зерна нет.

— Карасик, я о дочке забыла, я развратная. Ну, все равно.

А город пел тон за тоном, за тоном тон — пьяную песню, какую всегда он пел и какой люди прохожие — американцы, колчаковцы, французы были рады, потому что им все равно, они — как мухи, присели на коровьем выме, а потом улетят дальше.

Капитан Карасик сказал тогда кучеру.

— Поезжайте прямо и не оборачивайтесь.

Губы в темноте у Артемиды вяжут и пахнут горче рябины, а голос гнется тише шелка.

— Я пустая женщина, Карасик.

Капитан Карасик, замкнутый в суконные серые пуго вицы, отстегнул пуговицы и сказал:

— Ничего. Сейчас.

Ехали они по сибирскому тракту мимо кордона № 8 на пустыре, где стоит дощатый и дутый как нарыв цирк, ехали к белому Ивановскому на горе кладбищу. Увалы были в снегу, а внизу в корыте мылся снегом город, и стонали чугунные била сторожей. Ночь эта странная, пьяная, как всегда. Поезд в несколько теплушек, где в теплушках вповалку лежали члены учредительного собрания, тронулся от станции Екатеринбург в Челябинск — к Гайде.

В эту же ночь Наташа и Дора ездили с французами, с серебрянными погонами из штаба. Поездка была на Водочную улицу, где красные домики, розовые фонарики и домики проще фонарика, а женщины такие же розовые как фонарики и такие же доступные, как во всем мире, если предложена хорошая цена.

Наташа и Дора ездили из любопытства.

Наташа плакала, и Дора утешала ее так.

— Ничего, Талочка, надо все знать. Теперь время такое, нельзя. Будь взрослой.

* * *

У городских застав, и у Главной в эту ночь стояли караулы. И колючими проволоками была перевита дорога. И от проволок при луне шел колючий блеск. А у солдат, стоящих в дозоре, на кокарде две полоски: белая и зеленая. Означало это — снега и леса Сибири.

Но несмотря на то, что стояли дозоры и в городе и за городом, — у спичечной фабрики в маленьких домиках как раз в эту ночь было назначено несколько заседаний, и большевики, спрятавшиеся, когда в город вступили чехи и Добрармия, сейчас постановили приняться за постепенное выполнение взятой на себя задачи: именно — вести партийную работу в расположении белых войск.

Они знали, что эти ночи, пьяные и долгие, когда из сытых домиков на Клубной летят снеговым увалом тройки с женщинами, а французы возят девушек на Водочную для любопытства, когда в теплушках едет к генералу Гайда учредительное собрание — знали, что пройдут месяца, что придут новые июльские дни и так же, как всегда, вырастет по логам у Ивановского кладбища трава пышма и запах ее будет сладок, но не будет уже больше гуляний, и эта рябина сладкая и горькая — последняя для Артемиды Васильевны. Потому-то ей так весело ехеть с чехом капитаном Карасиком, поэтому же так шумны именины и так отрадно бьются рюмки. А там, где засадание о работе — большевик Антон Черняк, 27-ми лет, был командирован тайной партийной ячейкой в команду специалистов Сибирской ударной бригады.

У Антона Черняка, кажется в Кунгуре, была мать и только что сегодня он получил от нее письмо.

— Тошенька. Береги себя. Как бы тебя не узнали. Дело твое, что ты ушел и отцу тяжело и он против тебя и против твоих убеждений, но ничего не поделаешь, письмо ты сожги и берегись, и себя береги, потому что, если что с тобой, то для меня несчастье. Наши все даже Аксинья Петровна вспоминают о тебе и говорят: бе-

довая голова. В твои годы я думала не так. На уме было потанцевать или любовь, а тебе вот как приходится...

Тут Черняк останавливался, улыбался и прятал письмо в карман.

В комнате было тихо. Товарищи грелись у печки. И осторожно были завешены окна. В ожидании есть много сурового. В этой суровости—вера надежная, камень. И может быть оттого слова у товарищей падали тяжелые, гладкие и каменные. И каждый в тяжести верил неизбежному, потому что без веры они не могли бы жить в этом гнилом, пьяном городе, где двери, как у кабаков, и женщины — их зовут иначе дамами — отдаются чехам в тройках, за городом, где ходит ротмистр Чегодаев ночью по городу с похабною песенкой про девушек, а девушки любопытствуют в публичных домах..

Так было в екатеринбургскую сухую ночь, когда Колчака за день до этого провозгласили в Омске Верховным Правителем России. Никто тут не подумал тогда, что Россия прячется, что Россия идет от Китая — Кремля со старыми зубцами к старой Перми, к Кунгуру и Вятке.

ЛЕС

Может быть, тот лес — любовь моя

Н. Гумилев.

1.

Я люблю ту, что бежит от меня, бегущую мою любовь. И когда овладел ей совершенно — вдруг снова уходит.

Так любовь моя, как русские качели.

Но я люблю еще и мир, и травы, и свое искусство.

Все в моей жизни нужно. И я вхожу туда осторожно.

В день очень скудный и хмельный — убежавшей моей любви, я пишу этот рассказ.

Хотелось бы, чтобы слова были также густы кровью— как моя тоска.

2.

В бочагах ржавые настои. По кочкам рыжие мшавые травы. Земное тело обросло рыжим волосом, бородавками, бочагами.

Голо, неприбрано, коряво — и туманы умывают утро. И вечера умывают туманы.

Скучно.

Пустошь лежит, как шкура, без края, без мысли.

А в небе одни худые зори. И они ничего не сулят.

Будет дождь или нет — все виснет пар над бочагами. Да выползет к камню червяк, кольцом скрутив тело — мясо. Пошевеливая, мясной острой мордой — нюхает.

Но кругом глушь — тише и страшнее ямы.

Невеста моя, земля моя без края — как жить будешь?

3.

В утрах меркнут худые зори. Крылья у них и ноги, что у птицы ленивой — кулика.

Бьются с туманами ленивые зори, но мхи — сырые и жесткие ждут другое. Силы ждут, чтобы волос сгустел и окрепла земля, согнав ржавчину, и в бочаги налилось хрусталя. По утрам он холоднее и крепче камня.

А камень такой — ясен. Наша судьба. Тяжелая.

С болотин и пустошей стелется шелест.

— Невеста моя... будешь ли?

Вот с голубых пухлых полей, что иной раз—влажные и потные роняют дожди, а иной — обсыхая, натягиваются краснее и туже червяковой кожицы, — оттуда вот добрался голос. —

— Будет.

Это солнце — добрый зверь и рыжий.

Мечет в землю теплые зерна. Жжет бочаги и кочки.

И, ворочая лапами, выдирает целину, когтями рвет земную шкуру, пихая зерна. И зерна легки и плавки, как золото. А земля тепла, как гной.

По июлю зверь сбирает тучи, как зерна, и давит их, что медведь камни.

Горят в небе голубые мечи — июльские грозы, поят землю дожди.

Так начало солнце.

И полив работу, с Покрова уж укутало ее в мягкие белые рогожи.

Устав, ушло за края, где земные концы и где лежат облака, что на межах пограничные камни.

И весь долгий срок русских морозов, щелкающего с холоду ветра, спало там, подвернув под живот горячие умелые лапы.

4.

Весны приходят к нам всегда неожиданно, как любовь.

На Купалу дни ясные и легкие, будто полевая тишина.

В бочагах вода задернется цветенью, зелеными сукробами.

А за сукробами водяные жильцы пойдут грешить в зеленом ласковом мраке.

Никто не мешает — никто не подымает зеленых пологов.

Там любят и рожают.

Ведь сила первая—нечистая сразу рождается в воде.

Этими же легкими, полевыми днями проснулся в небе добрый зверь. Хорошо зевнул, облизал лапы и выставил их на мягкий весенний ветер, чтобы сушились.

И пока сушились сырые с зимы лапы—зверь смеялся.

А оттого что зверь смеялся — по ложкам и прогалям покатилася вниз вода.

Зверь гладил землю, разбирая ее лапой. Чуть тронув когтями, приподнял земляную корку — посмотрел под коркой ростки.

И сказал им просто.

— Ну, ребята, выходи...

И проросль пошла так: зерна разгорелись и лопнули, и росток — соленый как слеза и веселый — как рыжие зори, расправив телом скорлупу, вылез и осмотрелся.

И, увидев голые бочаги, ямы и ржавый настой, покачался.

И другой покачался.

И третий.

Глядят: —

выбежало их на пустошь сила, выбежало их по ямам радость.

Кочки в зелени, в зеленых сетях. Сюда же шмель прилетел, чтобы гудеть, чтобы пить новый и зеленый мед.

То был первый шмель на пустоши, в глухих ямах. Он гудел, потому что побегу много и межу много. И шмелиный гуд весело летел от бочагов до натянутого, как кожица, красного неба.

Там распластался зверь, думая: — сколько еще работы...

И, ухватив осторожно побеги, подтянул их выше.

С той поры пестовал заботливей няньки, грел в ладошках дыханием, перебирал землю около, сушил мхи.

5.

Так трудился зверь годами.

А годы эти были десятки наших. И не один десяток, — а два, три, четыре, может быть семь...

6.

В июнях нынче проросли новые травы.

Брусника — бледнорозовый и колокольчатый цвет.

По логам пахучий чабер.

У бочагов явер-трава, острая, как сабля.

И на лесных полных луговинках яркосиняя, лукавей девичьего глаза вереда.

Вереда — цвет опасный и горький.

Но чем горьче вереда, тем лучше.

Трава эта похожа на женскую любовь.

7.

А солнце работало.

Ровнялись из поростн, из молодяка лесок за леском.

И по июню, по июлю цвет кожи у них одинаков был с вечерним ветряным небом — красный.

И лесок обзавелся птицей.

К примеру — кукушкой. Птица простая.

А у кукушки появились вши.

Из колючих хвой ожил муравей, чтобы строить себе царство, работать.

Лапы у муравья были такие же сильные, как у солнца, и запах такой же густой и крепкий, и в упорстве муравей был ему равен.

Ведь муравей вырос из хвои и из солнца.

8.

В мае — радость, в июне — счастье, июлем — сила, августом — хмель, зимами — отдых.

Так жил лесок.

И, покуда не мог любить, его сторожило солнце — зверь добрый и рыжий.

Года шли точно воды, верные, как лед, благостные на мелях и веселые по паводку, на разливах.

И зверь в небе знал твердо — когда и что подсушить ему, когда обирать тучи, когда поить землю, когда вялить.

9.

Опять шли воды. А с водою года.

Розовое, белое — венчался лес со свечами.

Кричал в небе добрый и рыжий, что медь, зверь. Бил зверь в медный звон.

И звоном шептались стволы — розовые, белые, ясные, также как май месяц, июнь месяц — радостные сроки.

Шли воды, года и звон. А кукушка считала года. Птицы пели венчальные запевки. И думалось — что жизни нет конца.

Так считала кукушка.

10.

Решило тогда солнце: — будет...

И деревья решили: — будем...

И сняв венчальные оболоки любили.

Ветер сводил их по опушкам. Мял зеленые кружева и рвал тугие, девственные плодоносные почки.

Гулял по лесу бред и ветер. И трава вереда горько дышала. От нее любовь. Ветер нес поцелуи.

Страстью, веснами, летами, от годов ветренных и совсем тихих тяжелели, наливались, кондовели стволы. И судьба бороздила кору.

Росли, тучнели, плодились — это жизнь.

И оттого что в сучьях есть сила, а в листве — хвое крепость, и от желаний бежит по лужкам молодяк, — шли ароматы.

И солнце, вечерами раскачиваясь на упругих ветвях, думало.

— Хо-ро-шо...

Дождями мыло кору — от этого золотела кожа. Серебрилась — снегами.

И потом по ней веселые крепли морщины — это тоже жизнь.

Года, десятки, век... Второй быть может.

В этом веке было пахуче, упорно, радостно, как у муравья, сработавшего себе царство.

Там же пасся на долах зобатый и глупый лесной скот, и рябец клевал бруснику, и тетерева щипались на току.

Всем казалось: — Дом тут верный и ладный.

И в доме этом все хотели жить удобно.

11.

Так вырос лес темный и сытый, крепче камня и жирнее земли.

12.

Однажды — неизвестно какие — пришли от концов, от болотин, где ржавый настой и гнилые, вялые, что кишки, травы.

И разговор у этих — неизвестно каких — ржавый.

— Да ты чей?

— Ваньки Торбана сын!

— Так ты мне побратень.

— Все ли по добру, по здорову?

— Все по здорову... Сынишка нездоров малость сделался, без ног, без рук. Матка от батьки убегла, брата Ваську решили...

— За что?

— За горло.

— Дурак. Не про то я... За дело како?

— Дело плево. Да суд поскудный... Церкову обокрал, ризу да дымило, да христовой матки кокошник содрал.

— Пустяк.

Они срубили изгородь, обвели ею леса. Подсекли сырой молодняк, что совсем не горит на корню. Когда его подсекали — он жвякал, плакался. Навалили в кучи, чтобы сох кучами. И молодняк сох. А потом зажгли изгородь.

Огонь подхватило ветром, поднесло к кучам. И в кучах молодняка шипела золотая густая вода и брызги летели, как золотая пыль, и дым пах росою в сенокосы.

Огонь кипит и с куч доливается до лесов.

Сперва горят медленно корни. Потом вспыхивают, будто сережки, натеки смолы. А вот уже на ветвях, что по иконостасу в праздник, задымались лампады. И по верхушкам сосен поскакали стадами сумасшедшие огненные белки.

Вдруг тряхнуло ветром, огнями, бисером. Лопнули громче пушек стволы.

Пошло стрелять и рушиться.

Красный дым (потому что ведь в дереве кровь) — жег небо. Оно пузырилось. И вместе с травами, опасной вередой и острым явером, круто-легче яйца сварилась земля.

Вся в черных волдырях.

И из волдырей еще неделю, если не больше, курился горелый гной.

13.

Вот нет ни лесу, ни травы. Только пепел и прах.

И в прахе не живет даже червь. Тот самый, у кого острая мясная морда.

А мужики, вернувшись с ржавых болотин, спокойно посматривали.

— Пустяк. Взодрать землю, подаст с золы пользу...

14.

Вышло — как понимали мужики.

В первый год земля, перепаханная с масляною, что сало, золой, родила богатство.

Не знали даже чем собрать его, куда упрятать.

И мужики ходили от счастья в дыму.

И на второй год — тоже.

Напечено из ржи груды весело-пахнущего хлеба, наварено браги.

Дивились даже: — эка подвалило нам!

И выписанные мужиками бабы щеголяли калеными новыми юбками.

Жизнь эта — пьяная и мотовство.

15.

А дальше?

В год другой — ждали. Но земля дала разве что солому... И той мало.

Прошлые урожаи с'ели всю ее силу. Земля совсем нищая.

И нынче, после пьянства и мотовства, вместо леса и поля — лежит теперь неприбранная и голая скудость.

Опять глухая тоска и глухой пустырь, тише и чернее ямы.

На корявых лысых кочках заплетаются по утрам туманы.

И по вечерам туманы.

Худая пустошь в глазах — без края и без мысли.

То же, что было триста лет тому назад.

Тот же в ямах ржавый настой и в небе меркнут — прежние старые зори.

Так в один день, когда зажгли пожар и в золе искали долгого богатства, так в этот несчастный день промотали сразу работу трех столетий.

Невеста моя, земля моя — как и чем проживешь?

Но никого нет. Только выполз к камню червяк. Нюхáет.

16.

Есть!

Это конечно есть! Самое сильное.

Можно звать это жизнью.

Можно зверем добрым и рыжим.

Солнце сказало твердо.

— Ладно.... Начнем сызнова.

И впряглось в работу, в смазные сапоги, в землю, в пот — чтобы вернуть.

Земля поверила. Потому что ведь в мире все хорошо и ясно, кроме человека. А о человеке думать нечего — в нем вся глупость.

И луговины начали опять потеть теплым живым паром.

17.

Конец.

Рассказ этот о том, что приходит и уходит, как качели — о любви моей. Сегодня ночью видел ее во сне, будто уходила она от меня и я плакал страшными слезами. Значит, по примете, завтра она опять ко мне вернется после разлуки, как всегда — в новой тоске и с новою лаской. И я знаю — что мне не уйти от женской любви, как земле не вывести горькой травы вереды, как не избавиться людям от глупости.

1922 г.



ПЕЛЛА

I.

Всегда начинаю так —

Камень снизу и камень сверху, тяжелое, литое надо мной небо, ночью вобьют в него крепкие гвоздики.

Люблю.

Еще люблю, чтобы на именины мои, в Николу Блаженного-Капустника дождик июльский прыскал. Всегда бывает, привык и знаю.

Дождик умнет дорогу, заварив ее в тесто, гостей не будет. Значит, останусь один — одному лучше именины справлять. Скуки больше и думы.

А без думы мне нельзя.

Без думы, я — что сыроега, пустой гриб — ни похлебочный, ни для жарева.

То лето, о котором я нынче думаю — не такое.

Лето было хуже пороха, сухое и огненное. Я болтался в чужих людях, на станции Пелле, даже без ложки за голенищем.

Это последняя степень, — чтобы походному человеку ложки не иметь.

Лежал на откосе, у рельс — в теплой канаве и ждал, что вот - вот раскроется небо, как шкатулка, и оттуда спустят мне ангелы разных яств, чистых и нечистых.

На желудок свой я надеялся. Желудок у здорового мальчишки поместительный. Хоть три меры картошки суй — войдет. Верно, знаю.

В желудке моем, если бы тогда его разрезать, можно было б найти даже палки. Ведь сбежал я из города, где месяца два сидел на одной дуранде.

А в Пелле жили рабочие (ремонтный участок и изыскания). Мне обещали тут паек за то, что буду учить рабочих грамоте и счету.

Поехал.

Но школы здесь еще не было.

Некогда — работа шла горячая. Да и летом, в такую сушмень учиться никто не хотел.

— Каникула у нас. Потерпи, парень, подрастем...

Смеялись на работах.

И я терпел, но все мне было мало, ведь в мои годы — человек горячий и жадный.

А жить было прекрасно.

Сожгло меня солнцем, весь паленый, к щекам не притронешься — кожа сходила.

Воды много. А воду я люблю больше, чем землю.

Днями спал, как овчарка, на прогретой земле, а ночью, напротив, сна нет. Хожу по платформе и скулю...

Ночные поезда — дешовка, брюхатые народом, приедут и разродятся тут же, на полотне.

Первыми лезут бабы.

К бакам — «кипечоная вода».

Тянут мутный кисель кружку за кружкой; бренчат цепочкой, кружка то на цепочке, чтобы не украли.

Фонарь гложет изваляные, серые и зыбкие, как студень, лица. И только глаза бабьи — глухие, медвежьи ямы.

Бабы мешечничают, везут крупу и зерно в город.

От пота — кофты обжимают им грудь и спину. Бабы смеются, точно подсохнухи лузгают; ласковы они и податливы, как трава по июньской росе.

И я издали смотрю за ними, но подойти боюсь. Мешают очки. Бабы очкастых не любят.

А насмешка бабья — для меня жало, не залечишь.

Бабы вкусно пьют, хлюпая. Еще вкусней спорятся. Брань их жирнее сала.

За пять минут — опорожнены баки. И около будто наследило стадо.

По звонку бросится народ. Осадит назад длинная цепь теплушек, простонут оси, что бабы... Вздохнет паровоз.

Пошли...

На платформе опять пусто, и даже фонарь круглым щитом отвернулся от луны, наблюдая за ней исподтишка.

А в затине, где плодится ольха по камню и торфу корявым кустарником, ростут и шепчутся ольшаные страхи.

Есть такой подкустный шепотун — приказал ему Бог между кочками сидеть, говоря:

— Вот тебе, сучий кот, твое место. Существо будешь жестокое и трусливое.

И ни рог, ни хвоста ему не дал.

II.

Хлеб — великое дело.

Когда припас делят золотниками — душа сгорает. И вместо нее носит человек в теле пепел. Пепла не зажгешь, и тепла от него еще никто не видывал.

Я — парень молодой, а тогда и подавно тело мое ждало ласки.

Небо кругом замкнуто наглухо тучами, земля горяча и жестка, народ пылен — в песку и щебне, и скучен так же, как песок. Одинаковый народ.

А когда пошел земной пожар, стало спирать тяжелее и душу. Тело же кусал дым.

С севера занялись дальние леса, а красная сухая вода пробиралась и дальше, уж близко к нам долилась, запаливая старую болотную галь — прелые кочки.

Паль начала трепать кустарники. У ольхи же горький, травленный дым — разжигает человека.

Тот, кто копал от огня канавы, знает — что не гордость родится тут, а тоска.

Озер много, а землю не залить.

И думаешь: останутся они одни только — румяные, в зареве, блины, а поесть их некому.

Темнел я от этого, как земля. Шаршавело и сохло тело мое. А было оно — хорошей крепкой горстью из костей и жил.

Поднеси спичку — вспыхнет с маху.

И так это чувствовал, что даже обыкновенного огня начал бояться.

По жжонным полям, обрезая межи, ходили деревенские с кропильницами, хоругвями, иконами.

Рабочие наши — потные, немытые по неделе, глина прилипала у них к бровям — смеялись.

Всех нас считали мужики людьми чужими, с отшиба. А нам, и верно, плевать было на горелые рыжие ржи.

— Нам пайку дай пуд... и все.

Мужик же ковырял тоскливо глазом по закраям, ища дождя, чтобы умять засушь. А когда держал икону, бо-

рода его, потому что ведь губ не видно, непривычно нащупывала нужные слова:

— Не пожги, Милостивый. Не дай...

Мужик знает, как поить лошадь, срубить жило, угадать сильное зерно, но от огня, кроме мольбы, нечего признать...

Раньше, когда у Соньгозера город еще не обобрал валуны, люди молились больше. В камне этом богатство было и счастье.

Дыньков — артельный наш староста с бородой серебряной и колкой, что сельдяная чешуя, — тот еще, что ходит, как обезьяна, в наклонку, отмахивая на ходу руками впереди живота, один понимал мужиков.

— В подобный раз требуется голая девка. Чтобы стаей шла за околицу, нечесанная... и выла. Причет, конечно, знать требуется...

... Но ребята похабничали.

— Дыньков, ты скажи нам, ковда девок ловить.

... От разговора такого о голых девках кипело в ногах. И я убирался за кусты, подальше с глаз.

— Спалю всех...

Злился.

В ногти, когда усаживаясь, провалился я на кочки ягеля, забиралась земля.

И солнце, воспаленное пожарами, жирное и огромное, что бычачье сердце, дымилось между серой ольхой.

Ведь и день и ночь одно меня жгло: — стали мне сниться женщины.

III.

Когда живешь, в казарме — нечем укрыть ни душу, ни тело, молчи, а во сне все равно прольешься, вроде налитого вровень с краями кувшина.

Подслушают.

Казармы наши деревянные. Ящиками погружены за станицей на страмбовавшуюся глину — и прямо к нам в окна уставилась вывеска

— Пелла —

Если долго смотреть на буквы, можно увидать верблюда.

Отчего это, я не знаю, а видел всегда.

Будто настоящая около пустыня. И из водокачки, где паровозы набирают воду, сосет верблюд.

По субботам подговаривали меня ребята.

— Миколаш, айда на деревню. В Каменке седни гуляют. И — етто у тебя ублюд с мечты. Смотри вре-ад. Думаешь - думаешь, да и задумаешь, спортишься. Пойдем к девкам гулять.

Колени хотели, да не подымались, слабли ноги.

Говорил я ребятам.

— Ну их, не надо мне.

— Ломайся, чорт. Упрашивать еще.

Ребята с гармонькой шли по путям, мимо кубиков шпал.

Издалека, когда подходили они к деревне, слышал я, что певун и гармонист Силанька, горбатый наш каменьщик, начинал песню, зажигая девок.

Удивлялись ему.

— Стерва, голос у его вострой, ножик, душу режет...

При долинушке калинушка стоит.
На калине соловейка сидит,
Горьку ягоду... — калинушку — клюет,
А малиною закусывает....
И-их... при долинушке...

Поразительное с Силанькой. Горбище с правого боку окороком, притронуться мерзко, а гармоньку заведет — не удержишь девок, все за ним.

А я все очков боялся. Задразнят, думаю.

Глупый был я, а за сухость верно прозвали меня девки: очкарь.

...Тут уж не пойдёшь...

И когда, добрасывал ко мне ветер —

Прилетали к соловейке сокола,
Звали птицу соловейку с собой,
Й-их с собой....

каруселью кружила подо мною койка.

Я спускал с постели налитые тяжелые ноги, брал бредень и торопился к озеру — выгребать рыбу.

Жег костер у воды. Пек в пуховой и теплой золе карасей и думал — запалю. Пусть скачут. И черные карасьи чешуйки кидал в огонь.

Чешуя трещала и лопалась, а от рук, от воды и огня густо пахло карасьим потом.

Злая паутина, расшила глаза, и если бы взглянуть тогда на меня со стороны — божились бы, что я колдую.

За такое дело в озерах — привяжут валун к шее и спустят хлебать донный ил.

А я и вправду будто нагадал.

Опять облило ночное небо красным молоком — то значит еще не унялись дальние с севера леса. А у нас в пустолесьи, гладкая и черная, как сковорода, ровь, дожидая огня, опять парилась.

Утром кочки опять дышали тонким синим куревом.

В этот день Дыньков нарядился в пестиранную каленую рубаху, пузырями дувшуюся по лопаткам и пошел на деревню к старикам.

— Требуется пособить... А я чару знаю, бабка моя полуверицей в лесу жила, дитем огребли и в купели купать. Ничего баба выросла, здоровая с бородой. Никово зверя не трусила, колдувать только не могли отучить. А бить боялись, — лягушкой спортит.

IV.

К полуночи, когда потемнело небо, и дым сдобными пласточками слоился над дорогой, мы — то-есть ребята из искательской партии и я — лежали за деревней у погоста, на горячей, пахнувшей кипятком земле.

Я смотрел в небо, откуда стожары роняли на землю голубой холод, леденя сквозную мою голову, а в ногах зудела печь, будто год я не разувался, и от поту тлела кожа.

Мы ждали девок.

Над погостом сторожила луна. Ее нельзя было отличить от солнца. Велика непомерно и румяннее матерой вдовы.

Ребята таились в лядиннике, за пнями елового малолеска — поросняка, порубленного еще в войну, когда строили у Пеллы рабочую казарму.

Мы не курили, чтобы не спугать. Ведь и птица и девка издали чуют табак.

Сегодня — я решился сбаловать вместе с ребятами.

— Этто семя в тебе бродит. Нельзя, надо унять, Миколаш.

Уговаривали они.

И вот сейчас, прижимаясь грудью к горячей кочке, я караулил того же, что и ребята. Ловил в теле своем каждый стук и слушал — как зудят ноги. В кровь на-

мешалось и стыду, и страху. Ветер, гнавший дымок, разрывая пласты, продувал мне голову.

Ведь сказал уж я, что была она у меня легкая и сквозная, и весь я в ту пору сух был и прост, как земляная горсть.

— Ребята, а как же.

— Рицепт пустой... Нагни ножки — и познаиш...

От урока щекотало глотку так сладко, будто леденец тает.

И думалось, что не будет краю тоски. Леденец жжет. Если б озеро случилось рядом, выпил бы его дочиста.

Я — жадный.

— Ребята. Не придут они, верно. Не придут, а? Не будут?

— Будут. Чего тебя бьет, небось...

Шутили ребята.

Жить мне с ними всегда было весело, но учитель выдался я плохой.

Едва заглохли ночные петухи - кликуны, как у околицы просыпался смех.

То шли к перепутью девки. Босые в одних рубахах, расплетенные косы горели ярчее грив под красною луной.

Гремели тазы и котлы. От ведерного звону могли лопнуть звезды.

Ой, пошли ливеня, ключи открой, рассеки чудной Спасов камень. Росой усей меня молоду, не томи — задуй Осподь — златовин...

Толклись девки в дыму.

И не различишь, девки то или белая овечья отара.

Загудели снова тазы. Девки пугали сушь. Страх на нее пускали.

Сосед дернул меня мягко за локоть.

— Можно таперь...

Закричали мы.

— Лови-и.

И поднялись с кочек, топоча, как косачи.

Кочки были приземисты — и мохнатей пасушьего колпака.

Визг смутил бы землю. Но стыд не растет в нашей земле, — и Каменка молчала...

Почему — видно будет потом.

Но крепки и ласковы у парней руки. Укладывали девок тут же за кочками, под корявый ерник на горячую землю, горячей кипятку. И девки ложились удобно и ласково, как тесина под плотничью руку — строгай.

Я поймал одну.

Она цапалась и кричала.

— Что вы... не смейте.

Но я не слышу, сквозная голова в дыму, на губах костер, а руки, что ручьи.

Вижу — в руках у меня крепкая, крепче сосны-кондовки, и кожа розовая и смолистая.

Заласкал ее сухими шаршавыми пальцами, растер— что мох в ладонях.

Взглянул на волосы. Разметались по кочке белы, как ягель, но длинные и тугие. Скрыли лицо, и только губы зреют около меня, дробовые и душные, что в ягеле морошка.

Пригнулся, стал целовать, а она кусается.

Но от соленого, с кровью поцелуя — пьянее тоска.

Гляжу — метнулась у нее пугачная улыбка, левый уголок у губы дрогнул, и руки уж отвела.

...А я беру.., и ломится под телом хворост, точно в костре.

И тело хрустит, само дается.

По супесью, по торфам горят девки. Межу ними, между кочками стелется низко сдобный дым, хороша зола урожаю, богатеет ею земля, вырастает в корявом ернике радость.

Только девочка моя жалуется кочке.

— Господи, что будет...

Так ведь и упругая кондовка упирается и стонет, когда ломят ствол, и по розовой коре вытекает живой, может быть, животный сок

Стыдно мне рук своих. Не знаю куда сунуть.

Убрал ей волосы.

— Не плачь... Как зовут тебя.

Но она прогнала меня. И пошел я к Соньгозеру. Там на берегу кукушья трава. Рвал пучки и гадал о странной девке.

Руки же, ноги тихо тлели, как тихие уголья, засыпали крепко, как хожалый после дальнего пути. И сквозь голову сеялись ситом слова — ничего не мог удержать.

Пустые мои мысли — синее и горше дыму.

V.

— Миколаю плоть кинулась в голову...

— Заражон Миколай...

Шептались про меня в партии — дня два спустя.

Не пойму — отчего я горел и кожа лупилась.

Тянет к тупикам, за последний семафор, где перед глазами сочатся от солнца рельсы, тугие и белые.

И вспоминаются те — чужие косы.

И руки мои — головни дымные, чем сжег девку. И как хрустела в огне розовая кондовка.

А из ольшанника, прилегшего на дорожных откосах, донимал меня чей то тонкий плач...

. . . не знаю...

Турухтан ли то пыхтел — или шепотун ольшаный, без рог, без хвоста — трусливое существо и жестокое.

Когда выпотели на небе тучи и обрушился густой дождь, будто все озера разом на нас опрокинуло — люди вздохнули.

Гром ковал тогда небо, расшвыривая пачками зеленые пары, рвавшие как подрывной патрон — и шипела непривычная к воде раскаленная земля.

Охотно раскинула она сухое и жадное свое тело.

Поля пили дождь, оживали, стонали ржи, колосясь под зелеными полохами —

и земля крестилась.

Не даром бегали к кочкам девки на засев.

В эту ночь заснул я легко и радостно. И с меня ливнем смыло что - то...

Умытым утром около барака варился на таганке чай.

А травы, влажные после дождя, нежны, как девичьи глаза. Не насмотришься.

За чаем подшучивали надо мной ребята.

— Силанька вчерась прибегал с Каменки, жара, говорит, ребята, будет, а Миколаю в особе . . .

А Дыньков всем над серьезно.

— Ничово вам, ребята, не будет. Слава Осподу, дожжу оросило, не зря посеяли девок. Осподь то видит.

Ребята ругались.

— Да за што нам, они все ломаные.

В прихлебку пьет Дыньков, со всего блюдечка, со всех пяти пальцев.

Бороду сушит.

— Не все. А то дожжу не было б, ежели все. Капли не было б, по примете... А у их была одна...

Слова его прочней шкворня железного. —

— ... уж я знаю. Была там у них первинка, неструганна — поповска племянка. С ей и вышло людям счастье. Пелашечка, ангил барышня.

А сам глазом из меня веревки вьет — смеется.

Чай застревает в горле, а ребята косятся, завидуют.

... Вспоминал я попа Савватия—льняная птичья голова... И сейчас, и потом ни разу словом с ним не перебросился. Кроткий поп жил от всех в сторонке...

Когда начали сбираться на работу, Дыньков подошел ко мне, ласково опираясь на мое плечо.

— Ничово, Микола. Осьмнадцатый годок — расточенье красоты... Я тебе ее приведу. Ничово...

И, улыбаясь седыми патошными губами, шепнул мне на ухо.

Дынькова слова щекочут меня пальцами под мышкой.

— Осподь то што тебе послал. Да я б за такую несусветную милость тыщу бы дал... да сколько требуется—да хушь пять тыщ, чего пять—десять дал бы.

Дыньков хлопнул себя обеими руками по голенищам.

— Ей - Бо.

Пахло от него крепкой влагой, был он желт — и сильнее стародревицы — лесной земли.

VI.

На Николу - Капустника в мои именины — прыщет дождь.

Постоянно так — знаю, привык.

Никола северный — всегда мокрый.

От Соньги до Колы — тридцать три Николы.

Хорошо мне в Рассеях.

У Москвы — Успенье.

А в Нов-Городе: — София и Спас.

Люблю.

Долго скрывал конец. Вчера даже другу Федину соврал.

Ничего, говорю, больше не было.

Уверял его так за кахетинским, у Ираклия Давыдовича Гулисова в «Уголке Кавказа».

А прийдя домой, сразу заснул. И во сне увидал Пеллочку — поповскую племянницу.

Будто ее из-под жирной льдины вытянули — мертвую и исковерканную. Лицо у Пеллочки черное и глаза сучковатые, смотрит укорливо.

— Что ты сделал? Подумай...

И от взгляда я проснулся.

Сумраки толпой у печки.

Страшно — мне. Шепчу в одеяло.

— Помяни, Господи, душу. Помяни — помяни...

И с каждым крестом чувствую, как страх — вместо глухой моей борьбы — утверждается.

— Нет, Бог есть... Бог есть...

Нет — овладела мной чужая сила. И не могу уж я молчать... Надо отвалить мне от гроба камень.

Было так.

На Николу-Капустника — мои именины — привел ее Дыньков.

Помню точно: встретились мы на станционной платформе, под вывеской — Пелла —.

Отсюда стал звать я ее Пеллочкой.

Куталась она в желтое непромокаемое пальтецо. На пальтеце мокрые от дождя пятнышки.

И на розовом лице глаза тоже пятнышки.

Познакомились.

Сидим на скамейке в пустом III-м классе. Торчит уборная и кислый запах и захарканная в углу окурочница.

Сидим долго, не зная, чем начать, пока не стиснула она меня крепко за руку.

— Коля, вам не стыдно.

А у меня ничего для ответу, *ничего*. В ногах зуд, а в голове стелет едкий и горький дым.

Протянул руки.

— Поймите...

Руки мои — все те же головни. И тело — горячее и сухое, жадно, как у комара.

Разве дождь ульет такой пожар.

Одно к этому средство — спалиться до тла.

И мы горели, изнывая. И в дни эти — ничего не помню. Ни людей, ни погоды.

Об этом можно долго говорить, но покороче и легче, и лучше, и понятнее...

...Одно знаю твердо: слов между нами не было.

Она ничего не спрашивала — что такое любовь моя... Люблю я и воду, и землю.

Иной раз лишь взглянет — обдует ветерком, плеснет из глаз синее курево — и заплачет.

— Нет, Коля. Надо мне к попику. Не знаю, что ты со мной делаешь?

А я пальцами стирал ей слезы с лица.

VII.

Осенью, после первого умолота — на деревне мужики гнали самогон.

Земля в Пелле малосильная и приплод вялый — все же ржи для гонки отделят.

В Покров растворяются ворота и из двора во двор ходят гости.

Меня зовут всюду — шепчут мужики на ухо одно.

— Дыньков твой — особенный человек. Закон справил... А без тебя погибнуть нам... погорело бы. Пей. друх, выручил.

Пили, заедая ватрушками. Ходили от угару избы.

В этом годе срублено много новых.

Их тоже обливали вином, старый порядок.

И потому спьяну, схмельна дрались.

А надо всем тяжелело каменное угрюмое небо, готовясь выкинуть ледяную порошь.

Зима приходит здесь рано. И голый ерник — куст, износив за лето одежу, начал уж зябнуть.

У околицы молодежь вела танцы.

Там меня нашла Пелла.

— Пойдем, надо мне сказать...

По бокам проселка разбежались сжатые нивы, стриженные — что девка, потерявшая красу, и лежат стыдливо и покорно, упершись глазами к небу, как скот.

Мы сели в ягель.

Пелла перекусила зубами травинку.

— Коля, я хочу все спросить...

И отбросив ее нерешительно:

— ... любишь ты? или так?

И посмотрела на небо. А оттуда одно сулят —

Придут снега, укроют поля.

Никогда я не думал об этом.

И рыба не думает, когда клюет мошку. И у огня не спрашивают, зачем горит.

Вон тоскливой чередой чернеют паленые кочки — июльская гарь, канавы, чтобы спастись от пожара.

Тогда страшно горело.

Ну что ж... Полезно земле гореть...

Говорю я Пелле.

— Трудно прожить нам в голодном годе. Там убили Урицкого...

— Разве это надо...

Скинула за плечо Пелла косы свои, тугие и белые, как рельсы. Тяжело скинула. Век не забуду.

А голова моя пьяна. А тело по горло сыто — огнем, лаской, вином.

Утолил.

Тут я краешком нехорошо усмехнулся, — Соньгозеро вспомнил.

Пелла улыбку заметила — спрятала.

И груди ее при этом тронулись за кофтой, скользнули, будто рыбы в бредне.

— Что я попику отвечу, Господи. Ты, кажется, меня оскорбил... Да что...

Вздохнула, пошла от меня, завернув в руки лицо.

— Надо было еще тебе сказать...

И ушла... Вижу, как свертываются за ситцем ее плечи.

А я сунулся к ольхе, мордой прямо в кочку и думаю — это про меня Бог тогда сказал.

— Трусливое будешь существо, но жестокое.

VIII.

Тем бы и кончить, да просится душа.

Должен.

Через двое суток подал мне Дыньков записку.

— От ангелочика, говорит... Убежала совсем.

Затаив записку, шатаюсь.

— Как?

— Очень обыкновенно. С утренним, семь сорок.

И изо рта у него, что из банки с вареньем, неприятно патошные лезут слова.

— Знал бы допрежь, не упустил бы, ни... Я слово имею умять девку. Себе ее взял бы... Ей, Миколаша.

Испугался я.

— Дыньков, милый, что говоришь.

— А што... Ежели тебе не требуется.

Дыньков ясно посмотрел в меня, как в озеро. И на дне увидал черные камни, утопленное.

Закопошилось во мне: — чем я от Дынькова отличаюсь...

Требуется ежели... Может, здесь и мое оправдание.

Улыбнулся я, зажав губы в складочку.

— Что ж, поймай.

Ударил Дыньков по голенищам.

— Ай, Миколай, как хорошо . . . Ии, как хорошо.

Хотелось мне смеяться — ведь Дыньков не знал записки.

Записка была серьезная — карандашом..

— С попиком боюсь *такой* жить. Я поняла, что ты думал. Конечно, мне надо в город. Но мертвое место мое не ищи. П.

IX.

На пути от Пеллы до Гривы есть пересадка у реки Согры и станция Согра.

Там Дыньков настиг.

Что там было — некому рассказать. Сочинять же я не умею.

А *было* — это знаю и чувствую.

Когда спрашивал Дынькова — на его патошных губах темнела улыбка — он облизывался.

Страшно смотреть, как облизывался. И лицо потело. И пахло от старика жестоким пòтом лесовины.

...Одно известно из газет — но до сих пор не знаю: относится ли это к ней...

На маршрутном, когда бабы, как и всегда, за всю революцию, везли в город рожь, крупу и масло, женщина, стоявшая на подножке служебного вагона, упала во время хода поезда в пролет моста в реку.

„Труп не найден“.

Зима приходит рано, реку затерло льдами.

Тут и был бы конец моему рассказу о лете сухом и огненном, — но душа требует просушки, так же, как потный чулок.

Три года снится мне Пелла — легко сойти с ума.

У зырян есть обычай: обиженный, чтобы отомстить обидчику, вешается на его воротах.

Конец.

Друзьям моим хочется отшвырнуть его в сторону. Друзья спрашивают: так ли бывает нынче...

Но ведь и я сам, мои милые, знаю много дорог, знаю русские необ'ятные концы.

И там — с могилевских шляхов, по черниговским путям, через московские тракты до новгородских пятин, — везде, везде, где пыль и щебень перерезались рельсами, — видел я тоже иное.

Копоть и пламень в эти удивительные, незабываемые года обжигали родное, и дым бродил по России из кон-

ца в конец, как калика с одною песней. И как дым, как калики, тянулись мы по нашей земле, — вся Россия переменила места. Владимир ушел на Яик, тунгус привез Неве оленину и моржа, Москва испарила зерна в степях, а Сибирь, прорвав каменные хребты, села жить на красных кремлевских площадях у Китай-города.

Когда ползли «маршруты» от застав к заставам, пронося скарб и мешки с хлебом, боясь сторожевых отрядов, — я был и там.

Тень моей Пеллы не раз мелькала мне на этих дорогах, но потные груды шли от перекрестка к перекрестку, не останавливаясь, и идут — и идут. И, хоть в погоне за тенью, я истер ноги свои в сплошные мозоли, Пеллы все нет...

Пусть даже совсем не о Пелле, а о каком-то близком всем призраке говорю я.

Вы устали, а я уж бросил погоню, — но чтобы утвердиться на этом — надо поверить — кинулось тогда все в пролет, когда шли пожары, испугавшись огней...

И нынче напрасно гнаться нам. Незачем!

Не ищите мертвое место.

Камень снизу и камень сверху. Ночью в него вобьют крепкие гвоздики. А между камнями — живет жестокое и новое.



ЧАВАНЕ

Город уронил в лощину каменные ухоженные скотом и людьми тропы, — и там внизу, у серой реки — где вода по веснам шершава, что козий мех, а разливы глупы и буйны, как коза, — осел табор.

Лощина была трещиной меж горами.

Шатры, еще серее, чем река, населяли трещину.

Что рогожные иглы, воткнулись в небо поднятые на возах кривые оглобли.

Вот плеснуло по небу наваристым красным чаем.

На укрепах висели дымные котлы.

В кострах рвался и хрустел, что зверь, ельник.

Лишь по загону, между телегами, ласково щипали оттоптанные травы козы...

А медведя не было. Медведь — добрый муромский мужик подох, новые же нынче не ловятся.

И лошадей, и коз пасли ярые, веселые псы со сваленными лохматыми брюхами.

У воза Или, старого беззубного цыгана, почитавшегося вожаком, спорили мужчины.

В споре — затылки у них чесались, как костры.

Цыган злило — ведь спор шел о русских.

Иля вынимал из жилетки часы и черным пальцем, прочнее гвоздя подковного, отсчитывал минуты.

Табор ждал людей из города — ждал худа.

Вернее было - б уйти, но теперь даром упущена ночь — и нет хлеба.

Хлеб хотели купить в городе.

Деревня зла, как тощая шавка, и не уступит ни зерна. В деревне сами научились — лечить, цыпарить и ковать коней. И у каждого мужика под голбцем спрятана заряженная берданка.

Приходится дожидать.

Но те, кого ждут, тоже с ружьями. Надо бояться за коней. Могут взять.

Город давно точит на них зубы.

Рыба в реке не ищет работы, коза в загоне довольна талой землей, цыган по весне шатры манят — а спокоя нет.

Нынче не найдешь барыш.

В городах люди разорили ярмарку. Нет больше конных сходбищ. И на полиции висит красный флаг.

Главный барэдыр сидит в Москве... Не скоро доедешь.

Что делать?

Плохо в доме жить — нельзя помирать в доме. Солнце зовет на волю.

Сунешься в степь — пестрый полушалок — и в тайгу сунешься, за глухие кочерыги — большая беда везде.

— Бида... Бари бида.

Ночью Домна гадает по воде и по сивым коньим хвостам — дурные знаки.

Будут русские — оставят только золу и очажные камни.

Домна помнит все: Пэшт и Москву.

И сейчас сидит под возом, смотрит старая на солнце, не мигая.

Точно зерна — судьбу сушит на сковороде.

Адая э—бида
Преманде накачаласэ...
Ах...-ту разнесчастна
Навязаласэ...

У жеребых кобыл переняла Домна голос.

Когда поет она — ребята плачут.

Всем забота. У ребят только и у коз заботы нет.

Да рыба в реке заботы не знает.

Верно. — Чачо.

Когда приехал в табор отряд, закричали бабы.

— Шингала. Бида.

Но цыгане солдат не боялись.

Иля не слез даже с возу, лениво посмотрел на часы и хлопнул с форсом золотой крышкой.

Не спеша, тут же обулся прямо на босу ногу — и спросил ближнего солдата.

— Где твой начальник?

Солдат ерзнул в седле.

Когда грызут в упор жжоные, синей золы, цыганские глаза, трудно усидеть смирно.

И потому солдат не сразу ответил.

— А вон...

Но цыган уже понял.

Бывалым глазом вытащил он нужное, из отряда, как клещами, гвоздь — подумал: — Баба... и усмехнулся, — потому что знал, прожженый Иля — баба с солдатами не зря...

Усмехнулся еще раз про себя, тихо и зло (так усмехаются лошади — не заметишь).

И подошел.

Опять подумал: — глупость... Баба суше кавыла. Глаз пестрый, что вороний помет. Штаны мужицкие... Посмотрим.

— Здравствуй, сказал Иля.

— Здравствуй. Собери народ.

Баба кует звонко и голос у нее крепче, чем у кузнеца Апая.

Поднял брови Иля: — вот как... Бабий год.

Откланялся. Притянул за повод лошадь.

— Плохо, барына, коня ваши уздают. С горы упадэшь. Дай-ка.

Прочными и ржавыми пальцами оправил Иля мундштук в узде.

Лошадь, скосив глаза, перевела передними ногами и мотнула холкой.

— Э-э, слаб-бай. Нэ-ка!

Рассердившись, крикнул он лошади в ухо.

— Сходи, барына. Я на земле, ты — конная. Не слышу. Ветер трудный.

Помог спрыгнуть.

— Ва-ря... Хорошо имя, красиво. Вар-ря...

Улыбнулся Иля на случай.

Но улыбка не птица, не легко подманить в силок.

— Да? Марья — так Марья. Варя — так Варя. Все равно... Собери людей, хочу с вами кончить дело.

— Кончай... Надо — надо.

Иля повел ее за костры, к своей арбе, мимо костей, сухих шкур и кала — точно шла она по волчьему логу.

Ребята — желтые, как клопы, вытягивая головы, следили за ес штанами. И как пройдет мимо — скалили рот.

Не угадаешь: кусить хотят или смеются.

Но собаки были ласковы.

А ребята во всем надеялись на собак. И животы у них были не чище собачьего изнавоженного брюха.

Бабы пальцами и слюной подтирали жопку младенцам.

Одни мужики ждали тихо.

Еще раз скажу — глаза у них темней золы.

Не знаешь — прячет зола огонь или воду.

Молодое небо пахло весной, земля недавно розродилась травами. И солдатам, и Варе интересно было на новой работе.

— Говори, барына. Всэ.

Сказал Иля.

И неслышно обнял Варю за ноги, как козу, чтобы поставить в телегу.

— Федедыр.

Поморщилась Варя, но поблагодарила.

И в чистенький, отсморкавшись, платок — начала.

— Товари - щи.

Крепкий, старый свой волос от бороды закусил Иля, жует целый клок — чтобы не засмеяться.

Это он уж слыхал за хребтом. Только там говорят так одни мужики. Бабам - же, сладким и сочным, морковным бабам, — ничего не позволяют.

— Товарищи.

Снова повторила Варя, убрав платок в штаны.

— Мы пришли, как друзья. Надо кончать дикость. Рабочие и труд дожидаются вас в городе. Детей мы воспитаем и научим в наших приютах. Вам дадим

кров и хлеб. Старикам — угол. Вы бедняки и мы — бедняки. Разве можем быть мы врагами.

В тишине — меж телег, людей и костров легкие и звонкие жили слова, легче коньков в степном ковыле... И казалось Варе, что сегодня по хребту ледянь с вершин стечет пуховыми ручьями, а люди ясны и послушны, как бумага.

— Итак — я предлагаю потушить костры. У нас вы будете счастливы и сыты.

Когда хотела, она сойти с телеги, Иля остановил ее рукой.

— Нэ-ка, дай спрошу? Баба не оторвэт рэбят — нет. Коня возьмэт — куда дом? Слушай. Умру я, душа истомится в доме, жди когда дом упадэ... Слушай. Друг, барына, ты хорошо говориш — бэдняк. Пусти — выкуп даем. Не хочет табор. Гей, рома, так ли я говорю?

Передохнул.

— Гожо ли нам итти в город?

— Нэ гожо, дэдура. Не идэм.

Крикнули молодые чаване, и девки, и бабы, и старики, и весело лаяли заодно с ними ярые псы.

Только медведь не ревел, медведь добрый муромский сидень, его у чаван я не видел.

— Не гожо...

Указал Иля рукой Варе.

— Слышешь... Табор не хочет.

— Не гожо, дэдура, не идэм.

Опять крикнули чаване.

И снова говорила Варя о каменном городе, о труде, о грамоте и умытых детях, о теплой жизни...

... качались в седлах солдаты...

... говорила о покое старикам.

Но Иля, глядя на ястреба, что крылами, как ножом, резал небо, кружась над козьим загоном, — да на пахучего муравья под ногой — тихонько смеялся.

Тише и злей лошади, — не услышишь.

Видя, что смеется Иля, смеялись и чаване, и даже старухи, с истертыми ртами, толкались в задоре локтем под бок, а девки, у самой дальней полоски в краю неба, просили румян.

Вот оборвав облоко, упал ястреб за хребет.

Варя кончила.

А Иля, что сидел до сих пор у колеса арбы, встряхнулся, как со сна и унял мальчонку.

— Ш - ши . . .

И незаметно подсчитал солдат.

— Без трэх тридцать. Надо снять шапку.

Поклонился Варе.

— Бэри выкуп, Варя. Веришь Богу, коз, коней даэм. Не хочэт табор. Так ли рома?

Вэрно я говорю?

— Чачо, дэдуро, так. Нэ хотим.

— Видишь.

Наклонил он голову к Варе.

И голова его, седая и пухлая, была как груда пепла.

* * *

Солдаты на три воза уложили ребят.

И три воза полны были черными головенками. Будто нагрузили воза чечевицей.

Варя крепко сидит в седле.

Иля сбоку, на любимом своем Сивом, все еще просит.

— Барына, Сивого дам. Чэго надо дам. Пусти. Хорошо эдишь, конь будет вэрный. А Вар - ря?

Не хочэт табор... Не гоже ромэнге в город, Варя.

— Сам, сам виноват. Я решила. Собирайтесь, а то увезу детей, нельзя.

И ударила кулаком по луке. Вздрогнула под Варей лошадь.

— Э, бэнглына. Нэка...

Выругался Иля.

Закричал своим — и в ответ ему тоже кричали чаване, как птицы у воды.

Ржали лошади.

Густой пар повалил от залитых костров.

Опускались оглобли, прошивая иглой небо.

И складывали шатры.

Псы сгоняли коз в стадо и лаяли на речной камыш — там шумел сегодня ветер.

Но от последнего костра не хотела уходить Домна.
Голой рукой пересыпала она в тихом костре уголья.
И стон ее, распарывал воздух, что трескучий холст.

Ах - и - эх . . . барэдыр не знаэ . . .
Чито солдат с чаванэ сдэлал,
Чито сделал?
Па - ла - кать надо . . .

Насильно усадил ее Иля в возок.

* * *

Когда поднялись из лощины — обернулся Иля назад, на голое становище.

Пересчитал пропаленные в траве кострами рыжие лысицы.

— Седьмо. Добро.

И перекрестился.

Иля любил коней, любил счет, часы и Домну. И, если бы сейчас пришла к нему смерть — белая собака, вылизывать старый дух, — все бы мелькнуло у него разом.

Недаром был он вожак.

И каждый мальчик в таборе знает его руку.

Она режет скот. Она же выхлещет кнутом, если в чем попадешься. Она же дарит гостинцы — сладкий перец.

Впереди табора, за конниками едут три полные телеги.

Сыпятся в них чечевичные головенки ребят.

Кто-то зовет там мать, плачет.

И она кричит туда — к дите своему — сквозь топот ездовых, скрип колес, когда они железными ободьями строгают камень, сквозь собачий, ярый лай.

— Ой, сиды, мое нэщичко, сиды смирно.

Перевалив за хребет, табор стал близко к городу.

Оттуда пели церкви — завтра Семик.

Иля помнит это твердо.

Бывал он и в Костроме, и в Москве, и на зимнем Ирбите.

Знает все праздники, всех богов.

Русские всегда празднуют Семик березой.

Русский умеет угодить Богу — всем богам строит богатые церкви.

Есть за что Богу любить русского.

У чаван нет церкви — за что Бог его полюбит?

Верно. Чачо.

Колокола — голуби желтые кричали под небом звонко. Талая вода спускала по канавам городской сор и ивий пух.

Из-за труб, из-за приземистого города дуло, что из фортки, сырой копотью.

Чихал Иля.

На передних трех телегах заревели ребята. Пока не побежал один.

И вот они, как зайцы черные, начали прыгать из возов в поле, за изгороди, в межи и гряды — под гору.

— Держи, и-ей.

Кинулись конники.

За ними бабы.

Но удерживал визг их Иля.

— Пусти. У́ нас будут — знаю. Не надо.

Когда в'езжали в город, бабы плакали. Ведь в дороге растеряли половину ребят...

Только Иля знал, что главное еще впереди.

Чего никогда не угадать бабе. Оттого горд он был и спокоен. И с усмешечкой, будто папироски жог, смотрел на народ, любопытно толпившийся по городским мосткам.

Колокола у старого Собора на Оползне били ко Троициной всенощной.

Шел табор через Большие Проломы на площадь к Совету.

И Варе Апреликовой, секретарю Исполкома немножко стыдно было ехать на глазах всего города, по мужски...

Бесплодна тут земля — ни червя ни родит, ни травы. Козе нечего ущипнуть. И неподкованному коню жестко ступить.

Скучает Домна.

— Ой, барэдер — Москва нé знаэ...

И подскуливает ей пес.

* * *

Вечером, председатель Исполкома Иконников, рабочий с литейных Пельмановских заводов, слушая Варин доклад, долго смеялся.

— Ну, ну... Ну и как же... Скажи — ты. Какое дикое племя. Такого обломать роботка, ей-бо, р-роботка...

Хрустел он, что сочным огурцом.

— По зубам Варя ли? Ты ученая, обломай — кось?

Да нужно ли?..

Хотелось ему подумать, но у Вари язык крепкий, берет им Варя сразу.

— Ну роботай, роботай! Бед-ноой народ...

С того началась война.

* * *

Было в городе единственное удовольствие: ходили смотреть в «Факел Коммуны» — ученых крыс и синематограф, да еще слушали там же хор с революционным репертуаром. Этот же хор по субботам и праздникам пел на соборном клиросе.

Воздух что ли в нашем городе скучный, но недавно сибирский кот заведующего театром, студента Шурца — мужа Вари, с'ел трех самых ученых крыс.

Не доглядели.

И на город надвигался страх.

* * *

Началось так:

Молодых чаван услали на копку огородов и лесные заготовки, девок и баб поселили отдельно, ребят отдали в интернат, но когда пришла очередь старикам итти в богадельню, старики уперлись.

— Помрэм. Чава в солдаты взял — не идэм.

— Нет старух, барына!

Сыр козий крепче и острей молока, а старые люди тверже.

Копали черную землю чаване и, когда совали рассаду, смеялись будто в лицо земле.

Трушилась земля.

— Экой фрукт взойдет комунический после таких копорщиков...

Шептал город.

Но каждый день ходил на огороды глядеть цыган. Делали это с наслаждением, точно также как в бане до ссадин растирали друг другу поясницы.

Делопроизводитель Совнархоза, молодой дьякон Знаменосцев спрашивал цыганок.

— Вавилонянки, как понять игру природы.

И что значит вместо бубна и тимпана совок?

Смеялись цыганки и даже Домна.

— Художник будэшь? В Москве песни пэла, такой любан был. Дай ручку, не хочешь... Старая правду скажет, молодая дэньгу выклюет. Вэрно.

Когда пели они песни, дьякон жал цыганкам руки, но кармана не вытряхивал.

Любили же его потому, что умел во время вздохнуть.

— По всеобщей истории, в 1499-м году, имеется к сему, цыганки, историческая справка. Испанская королева Изабелла декрет напечатала, чтобы всем вам в 60 суток расселиться по городам и переменить жизненный устой. Поняли... И терпи.

Дьякон переступал смешно с ноги на ногу, как воробей и трепал по плечу Домну.

— Иди в Москву к Ленину, чтоб отменил... Он умный — башка.

— Тэрпи, ох барин... Большой барэдыр Москва — башка Лэнны, краль...

Плачет Домна.

— Чаван не знаэ...

* * *

Ночью спали на улицах, под воротами, во дворах. Гадили у крылец.

И старый Иля ходил к Варе в Совет.

— Гадит будут. Позволь шатры ставить — лэто зовэт. Позволь, Варя. Лэнны в Москве молчит...

Стоило улыбнуться, поймал ее Иля, как коня арканом.

— Бэдняк — рома Совет любит, правильно.

Позволь, Варя.

И Варя позволила.

Цыганом жило все в городе.

С окраин возвращали беглецов. Дикие и голые, точно волчата, кусали они нянек.

Мобилизационный Отдел сбился с ног, проверяя румынские, русские, сербские паспорта.

И когда ничего не вышло — предписали, военному врачу Берте Ратнер определить у цыган возраст.

Черные и пахучие, что сырая глина, становились чаване в ряд, показывая ей зубы и тело. А на грудях у них, где крестом рос жосткий веревочный волос — табунками копошились вши.

И так страшны были эти табунки, что Берта, отскакивая от чаван на три локтя, кричала.

— Сбросьте, сбросьте в печку.

Но чаван сбрасывал прямо на ее холстинковый, наплоенный халат.

И Берта Ратнер убегала в испуге из Отдела.

* * *

У неба есть звезды, у мати дети. Муж уйдет — память, горе душит — прижмешь маленького, сласть грудям.

Волос долгий и сильный вырвешь из головы — больно. Ребят возьмут — скучает душа.

Можно отдать всех коз, и медведя — если бы он не подох, и пуховые перинцы, на которых тепло спится, и даже коней (пусть бранят чаване), и даже молодых чаван отпустить можно вместе с ракло обучаться ружью — и это годится.

Но нельзя расти без ребят и мужчин.

Березка не живет без почек и дождя.

Нечистые руки обнимают мужчину, родится нещичко — пеленают его. И хоть дал Белый Дух женщине с каждым новым омывом месяца очищать плоть, а все

же нельзя такими руками раскидывать шатры и крепить полотна...

— Дай, Варя.

Плачет в Совете Домна, трескаясь об пол сухим лбом как коленкой.

— Шатры кто поставит? Дай, Варя...

Варя смотрит в из'еденное годами лицо Домны. Вода и ветер долго шли по нему, размыли сеть дорог.

Думает Варя — улыбается о своем.

— Ладно. Двух мужиков дам.

— Малэ двух, Варя... Малэ...

— Хватит...

— А когда уходит, старуха с умытым, веселым лицом, Варя пишет себе в блокнот.

N. B. — Не забыть — послать в Страничку Работн. о цыганке образ жизни средн. века. Надо коренной переворот.

Выйдет в городе газета, но никто, кроме дьякона Знаменосцева, читая газету, не вспомнит про испанскую королеву Изабеллу.

Варя тоже.

С мужем Шурцем слушает она репетиции церковного хора в «Факеле Коммуны».

„Вперед без страха и сомненья —
в п е р е д...
ре- ад...

хватают басы.

Варя улыбается счастливо.

* * *

После вечерен спят Большой и Малый Проломы, где часовня Ермака Тимофеевича, спит Оползень и Засыпки. На улицах только куры, воробьи и мальчишки.

В нынешнем году воробьиный урожай. Дьякон полагает, что слетались к нам в глухой завал воробьи из-за гражданской войны. Здесь спокойно.

— Мешает она птице. Я вот читаю московские известия, газета обстоятельная, а мало, касающе птиц, совсем ничего не пишут... Только у них — пролетариат, пролетариат... Эка! А ты обо всем подумай...

Знаем мы, что дьякон был — веселый.

В этот час он тоже не спал (не как прочие), а играл с мальчишками на Советской Площади в рюхи.

В этот час, говорю я, в легкий этот час, по приказу Вари, вели цыганок мыться на Большие Проломы в солдатскую баню

А мальчишки дразнились вслед пыльной улице.

— Цыган жило — стибрил мыло, цыган вор — украл топор.

Кричала Домна.

— Идэм, парить будэм.

Хлопал дьякон себя по ляжкам, будто был он до сих пор голый.

— Ги-ги- ена... Пойду, ей Богу пойду.

На солдатском дворе, когда проходили цыганки, солдаты учились строю.

* *
*

Баня была лучше и хмельней браги.

На горячем полку жгут березовые веники и шпарится паром спина.

И человек, и лошадь должны бояться воды. С воды слабнешь.

Особенно бабы. Когда отмокнет у них тело — нежным нежно, хочется им растянуться на лавке и тихонько жаловаться на долю.

Баба всегда жалуется.

Так и было.

И Домна, и молодки пели.

Адая э-бида
Прэмандэ накачаласэ...
Э-ай, рознещастна —
навязаласэ...

А красноармейцы, бросив учение, спорились у окошек мыльной. Смотрели.

В степи отдает тело землей и ветром, и сух и желт человек, и не пахнет от него ни березой, ни паром.

* * *

Когда мальчишки с Советской Площади станут собирать рюхи — значит наступил вечерний час.

Пора ужинать.

В этот час случилось так —

Цыганки не нашли в предбаннике ни рубах своих, ни иного барахла, ни горсточки...

Только Варя дожидает — надеется: — сейчас обрадую...

Первой закричала Домна.

— Где наш - шэ? Нашэ дай.

Улыбается Варя.

— Вот, новое. Это ничего, что коленкор, зато прочное...

...Ругались долго. Цыганки требовали своего.

— Глупые, то ведь надо сжечь, зараза. Сплошная, ведь, грязь.

— Грэзь, сама грэзь. Нэ - ка, отдай грэзь.

Глаза их, синей золы, порошили дымом.

Прыгала Домна, красная — что медный чорт.

— Не твоэ... Вон твой коленкор... Отдай...

Цыганки плевались и бросали новые, хрустящие рубахи на мокрый, сорный пол.

Но чем больше кипела медная Домна, тем тверже улыбалась Варя.

— Не дам тебе, вот чорт.

— Нэ - дашь?

Домна обернулась к своим и вытянув руки, что крылья выкрикнула по птичьему, горлом.

— Ромня, идэм так... бэри бэрезы...

Пошли они молодые и старые через двор.

И красноармейцы падали о земь с хохоту.

Шли с распаренными, что костры, грудями, потные и дышавшие баней, приложив каждая к круглому голому животу своему березовый мохнатый веник.

Шли быстро через весь город, через Советскую Площадь по Проломам, мимо Собора на Засыпки...

А сзади их, саженях в десяти, плелась на тарантасе Варя.

Город, только что собравшийся ужинать, из всех окошек злорадно провожал цыганок.

Смеялись мужчины и глядели жадно. Чему смеялись — еще никто не знал.

А Варя думала.

— Средние века.

* * *

После этого рос соблазн. И об него, как о крапиву обожглась Варя.

Мужчины вдруг стали бегать на Засыпки — носить цыганкам крупу, масло и самогон.

Все это, кроме самогона, можно было терпеть.

Милиция дважды напрасно делала обыск.

Помощник начальника — бывший прапорщик Душкин возил по городу на своей лошади Марусю, дочку Или.

По ночам сеяло небо звезды овсяным жолтым зерном. На Засыпках гуляли цыганки. И от песен по Проломам и Оползню стлался дикий дух: степных костров и пьяной длинной дороги.

А в домах ревновали и катались по немым перинам брошенные жены.

Были они тощи или толсты, с разными грудями, но ни от одной не пахло травами, дымом и любовью.

Жены ловили случай — остановить сев звезд.

И случай нашелся.

Когда цыганки гурьбою пришли в «Факел Мировой Коммуны» — уж на следующий день все городские жены успели пережалеть Варю.

— Варечка, хоть вы и свободно по партейности, но это Васенька дает им билеты. Говорить, не говорите, а посматривайте.

Васенька Шурц — студент, муж Вари.

Варя, кривила губы, отвечая дамам.

— Хлеб — это хлеб... Стул — это стул... А муж — что?

Но этим же вечером, после доклада

1) по вопросу о возможности совместного жительства кочующих цыган:

было постановлено:

-- разрешить и вернуть кочующих цыган для семьи, однако рационально использовав силу труда.

И Варя дня три спустя, верхом ездила по городу, как оскорбленная, в мужских галифэ. Когда хотела Варя быть особенно решительной, всегда одевалась она по мужски.

Резолюция родила бумагу. Бумага — бумаги.

А ястреб, что всегда летая над хребтом, косился и орал в сторону города, чуял — скоро пройдут гости и козы.

Город низкий и приземистый видел только Варины штаны. И это его удивляло.

Не слышал он, что в степи мелькают звонки.

На Засыпках вспух настоящий табор.

Вернулись по резолюции с лесных заготовок Иля и чаване.

Ночью, когда костры пускали огненные перья к небу, опять рвалась земля на жолтые и черные лоскутья.

Трещал ельник. Трещали бабы.

Цыганки научились просить у приезжих по новому.

— Тэварище, подари красны деньги, вольны деньги.

Скрипела Домна, как арба.

— Ах, большой барэдыр не знаэ.
Чего Домна плачет...
Мно вэрст до Москвы...
Кто скажэт...
Никто не скажэ.

Играл Иля и гитара кричала под его пальцами.

Иля давно угадал то, чего никогда не угадать бабе.

Сейчас он был совсем горд и спокоен, будто только что воротился с конной в больших барышах.

Орал Иле ястреб — жди.

А по городу «божились» конюха, что цыгане портят и сушат коней. Огородные сторожа обвиняли цыган в кражах.

А Иля искал конца — верил в то, что скоро...

— ...и по вечерам выходил за город: слушать степь и нюхать ветер.

Псы из табора опять вернулись к Иле.

Пес — ярый и веселый зверь тоже любит — чтобы рядом ржали кони, и рвали хворост костры, и люди делили мясо тут же у огня, а не выносили третьеводняшнюю похлебку из кухонь.

И вот не успела еще вызреть синяя костеника в логу, как решил Иля — что пора...

Сосчитал в ночь звезды — можно таборить. Посоветовался с собаками и месяцем.

Месяц висел молодой и рогастый, но Иля на него надеялся.

А утром, одев чистую рубаху, жилетку, часы, пошагал в Совет к Иконникову.

— Отдай рэбят, баба гуляет, сам знаэшь...

Чаване просят, нет рэбят — бэс баба балуэт...

Дай. Боюсь чего, не даш — убьэм Варю. Боюс. Тебе плохо — нам плохо. Бида, бари бида.

Отдай!

Посмотрел Иконников на дымные Илевы усы — коряги курчавые, на золотую от часов крышку, когда Иля хлопнул.

Поверил.

Не врет...

— Роботка. Што-ш ты, едреной чорт, поперек горла мне встал, второй месяц проглотить не могу.

Поковырял в ухе.

— Эх, ладно... Забирай своих вшей и смотри, обратно не попадайся. Уезжай к чертям.

Тише лошади и злее — подсмеивается Иля.

— Тебе надо, по закону...

— Коней надо, надо чавану.

Торгуется Иля.

— Нет. Столько я тебе не дам.

Ястреб орал тогда верно.

Ястреб толковая и вещая птица, потому что кормится не зерном, а кровью.

На свалках прел навоз и ошурки. Ветер из гор треплет зашлепанную, гнилую ветошь. И от прогретых ржавых куч, чуть тронется в горах воздух, несет вонючим паром.

Табор оставлял город.

Уходили вниз, в лощину, увитую тугим волчаником, и губастыми лишаями.

Кони, осторожно поджимая зад, не давали раскатиться возам.

И глаза у них блестели теплее неба.

Галдели ребята.

Псы огрызались.

А Домна, довольная дочкой и Илей, сидела в возке.

Иля свистит бичем собакам. И с розмаха зацепил солнце.

— Спойте, ромня.

Степям нужны травы, и сопки, и песни.

Если не было бы их — пропасть человеку, и конь перестал бы водиться на земле и некому было бы засеять небо голубым овсом.

И человеку хорошо стать песней.

Начинает Домна.

У жеребых кобыл переняла Домна голос.

Подыгрывают ей арбы.

— Башка Лэнны, краль
Волю любэ-эт...
Чаван не знаэ,
А - дая, - э - бида,
Чаван волю любэт.

Греется у путевого столба мягкий уж.

Мирно, не трогая его, пробегают мимо веселые псы.

— Москва, много вэрст...

Иля идет рядом с возом.

Шаг у него легче птицы и тише полевки, будто только что выпил он медовый настой из царь-травы, отчего проносит человека и верхом и низом.

Табор вброд перешел реку, лениво распустившую сивые косы, — ту самую, что недавно, по весенним разливам бросала воду, шершавую и глупую, как коза.

1922 г.


П Е С

1.

На черном выгоне пасется не телка, а пестрый мокрый пес.

Должно, пес спятил с собачьего своего ума. Иль голову ему продолжило.

Не то как понять: зачем лает пес на трубу Пельмана, литейного заводчика?

Бывало, гудит жадная, кирпичная кувалда, харкает дымом. Нынче ослабло. Заводский корпус пощипали снаряды.

Чем только нынче пробавляется Литейная Слобода, каким кормом упихивает брюхо — не понять даже псу...

А пес — известно, рыскучий зверь, до всего дохож. И нюх песий вострее глазу.

Да не наша забота — слабодские тощь и нужда, чорт с ними...

Нам путевать по раз'еденному кострами и мотыгой корчевью, где горелые пенышки строятся стройно, за желваки итти нам на лихой, черный выгон, что дотянулся пальцами до срыва и обвалился навзничь в узкую, камешковую реку.

Река бурна, рвуча и зубаста.

А рудяные выемки, когда в спокойные года руду рыли, под'емисты и высоки. Макушкой торкают облак.

Снизу-то видать. Ну, а поверху народу глядеть просто: выгон и выгон...

Ничего.

А место тут занозистое и смертяное.

И у воды, где в охапку пучится воспаленная, сырая трава — живет пес.

И слышно по ночам — как вода камни моет и заливается песья тоска.

А, может, радость? Кто знает...

Нам пса понять никак невозможно.

Место это унывное, может, только один пес понимает.

Да.

2.

Родина наша неуютная, мать - осень...

Ночью слышим — под молотком дробится стекло. Хрупка осенняя ночь.

Это — летучка дребезжит по рельсам, звякая буферами.

Курлыкают мирно немазаные оси.

Подходя к «Пельмановке» летучка разом влипает — что муха. И начальник полустанка меняет машинисту жезл.

Три теплушки — красные, потные, сырей червя дождевого, вдруг разевают рты, и оттуда тише слюны ползут серые люди.

Остроколом сомкнулись штыки.

Пошли по выгону.

Хлюпает, захлебывается под ногами трава.

Берегут воду земляные, сытые водой пролежни. Тяжела земля. Не легче взлохмаченное небо. Прижалось к выгону.

И вот сойдутся они — два жернова?

Куда деваться?

Но конвой идет спокойно и звонко, зная — что под ногой — вода, впереди — черный выгон, в середке — арестованные, а ждет — дело, а над головой хлябь.

Ежели хлеб ешь, сапоги носишь — привыкай ко всякой хляби.

Жизнь ведь черная, гладкая, — голая жизнь — выгон.

Ничего нам не страшно.

Вот и сопровождающему арестованных, фельдфебелю контр-разведки Корнееву будто и не страшно смотреть на пса, потому что жизнь у Корнеева правильная и полковая, — в походе бывает так, что не только о чем - либо подумать, а и табачку свернуть некогда.

Оттого, знать, лицо у Корнеева отчетливое и шаг четкий, и рыжая борода кругла, как литавра.

Арестованным не поспеть в ногу с конвоем.

Нога у них мокнет в грязи больше — всегда бывает так.

И чем ближе к унывному месту, тем крепче вязнет нога...

И не отодрать ее...

А Корнеев легко идет. С разговорцем.

— Будут завтра, ребята, затменье. Приказ штабные читали, чтобы солнцу затмиться. Вот, сукины дети, знают...

И конвой, и арестанты грохочут.

— И - им по карте видать!

Так трава живет, землю буравя и хлябкой осенью и талою весной.

Все к месту.

И потому теперь на черном выгоне нету крику, иль стону.

Из-за нечесаного, в лохмах неба угрюмо моргает звезда... а не собачий-ль глаз?

Корнеев команду подал твердую, как барабан:

— Ар-рестант, вещи сымай!

Ежели русского человека подвести к смертной звезде и сказать: твоя судьба тут.

Поверит, а ухмыльнется — и не поверит.

Земля, что ли у нас грубая, несуразная — рожает походя, как припадет.

Не знаем: умирать иль щи хлебать...

Арестованные коммунисты — красноармеец Петька и комиссар 5-го дивизиона Рыбин подошли к Корнееву.

И хоть темно было, а все-ж видать, что Рыбин весь в черном и кожаном, узок и жилист, как угорь.

— Эй, начальство, успеешь... Дай сперва курнуть.

— На последях курнуть...

Разбились голоса.

— Курнуть?

Подумал Корнеев, разгладил рыжую литавру.

За нас думает болотная галь, столб на насыпи, или пес... Мало ли кто? А нам некогда, у нас...

— Ну, без промедлений чтобы... И раздевайсь.

Закурили.

Слова мешались пустяковые, ненужные, как туман.

Один Корнеев хозяйственно наказывает конвою:

— А целься прямо на ветлу. В самый раз выдет.

И не торопит.

И оттого по выгону спокойно, а в небе — истлевает звезда.

— Ставь усих в край, опосле свалим на обрушину, в реку... Водой их смоет.

Корнеев говорит глаже ружейного приклада, внятно каждому.

Стало прояснивать. Мелькнуло солнце, — упало в рыжую бороду, золотом.

В перстенок корнеевский на правой руке серебром упало.

На перстенок - самоцвет улыбнулся Корнеев.

— Ну, ребята, пора.

Река брякает в камнях. Поутру свежей у земли голос.

Шло утро, как розовая девонька, с убранными холками, в новине, в скрипучих лапотках.

Комиссар Рыбин не видит, — о себе старается и Петьку учит.

— Норовите ближе к краю. Лови момент и падай в обрыв. Понял?

Вздохнул Петька, покусал крепкий ноготь.

— Да не робей, чорт. Так или иначе, чего теряем...

Рыбин — городской, упорный человек.

А Петька — деревня.

Борода рыжая пылает. Тепла жалко, матку.

Парнишкой будто в свайку дует, а рыжий дед, на завалине сидя, лается.

— Ты, лешай, свенчаткой - то стекла не побей!

Махнул на Петьку Рыбин и, молча, начал стаскивать сапоги.

Сапоги упираются.

И Рыбин думает, как всегда, по старому:

— Эх, зря узкие заказал... чистая мука...

Когда свиней режут, от визгу хоть уши рви.

А мы можем тише дерева помереть.

Плечом дернем — и ничего.

Отобрав вещи, фельдфебель Корнеев поставил арестованных на сажень от срыва.

— Пора, ребята.

И шеврон у него на погоне застыл вкусно, что жир на холоду.

— Сапоги-то у тебя щегольские, парень... Отдай мне.

Примерил к ступне подошву.

Отцыкнулся.

— Эх-ма, не влезут, — жалко... Ну ладно, загоним.

И заботливо пощупал головки.

А Рыбин ничего не сказал. Поджал угрем бритую губу.

— Сволочь!

По черному, из'еденному выгону — у обрыва расставлеы арестованные.

Голые, белые — точно зубы в пасти.

А в трех саженях конвой взял на прицел.

Рыбин еще папироску докуривает — ежится губа.

— Ма-лись! — скомандовал фельдфебель.

И сразу вторую команду:

— Ааа-гонь!

Гаркнул залп — упал Рыбин в обрыв.

Фельдфебель подскочил и послал пулю из револьвера вслед Рыбину, летевшему вниз, что папироса — только, голова чернела.

И заглянул на камни — в реку.

— Ишь, турманом... так и режет. Дурной. Убечь хотел в царство небесное — пешком.

Кашлянули солдаты.

Но смеху не было.

Потом, подойдя к Петьке (Петька еще царапал ногою землю) звонким сапогом строго попробовал вялую голову, и еще пустил в упор — последнюю, контрольную пулю.

— Теперь скидай...

Шмякнул труп об реку, а осенняя полая вода — густа, и лопнул он, резко хряснув, как стакан.

Конвой спотел от работы.

Из-за горы горело уже солнце, огромное, ноздреватое, румянее сочня.

И тут, будто из пня, вывернулся пестрый, жадный пес.

Корнеев пнул его носком.

— Брысь! Не спроста, что ли... Ишь, дикой.

Пес отбежал, палкой напружив жесткий хвост. И упираясь лапами в землю, вытягивая кривую и острую, точно шило, морду к заводской трубе Пельмана, заскулил протяжно и истошно.

3.

На слободском отшибе, в дырявой бане живет Симка, лежанная и гулевая баба. Глаза у нее заманны, вертлявые — не глаза, галки.

Слушок был, что Симка шинкарит. Да как же ей и не шинкарить. Спина у ней жирнее налима. Надо же бабе пропитаться чем-либо. Такое тело огородом не ухолишь.

Баба милая — пахнет от нее, что от пахоти, хорошим рьяным потом.

Когда гости в слободу заявляются, их приваживают всегда к Симке. Иначе негде. Слобода нага и тоща — там не до гостей.

Фельдфебель Корнеев с отрядом постой суточный нашел тоже у Симки.

Нынче у Симки угар.

В печи пирог, а на столе соленые огурцы и стопочки.

— Ребята, угощайся... Эх, Симка, огурец у тебя дуплястый, а то хороша закуска.

Корнеев ломает огурец пополам, отхлестывает с него воду и грызет с хрустом.

— В нашем ходе, ребята, и кот запьет. Прими, Симка.

Расплескивая, одной рукой подносит стопку Корнеев, а другой играет по бабьей узорчатой кофте. Дразнит лукаво перстеньком.

— Отцапися. Успеешь.

— Успею? Хы-ыы... а у меня, может, пожар горит... Так, ребята?

Солдаты смеются. От смеху еще хмельней Корнееву.

— А ты говоришь, успею. Да я, может, на пожаре живу. Что? По какому параграфу смеешь отказывать?

Прижалась баба к печи. Сама ее больше, теплее.

Галки вертятся. Перстенок — бурмистрово зерно — клюют.

— Уж?

— Уз?.. Уз?.. жид обещает, а ты крещеная. Где хрест у тебе, куды дела?.. Хрест верней пачпорта.

И за жаркую бабью пазуху лезет, что в печку, пальцы жгет.

— Отлипни.

А самой лестно. Борода ведь Корнеева круглая, литаврой, крепкая.

Хорошо, когда медною бородою мужик шею щекочет.

Для виду, конечно, баба скажет. Баба, известно, существо ехидное.

— Надо с понятием, а так нечего же совать. Слава Богу, не обтолочь какая, а военный кавалер.

Отскочил Корнеев.

Гремит литавра.

Ногами подтоптывает.

— Ту... баба! Ловко в шеренгу поставила.

А весело.

Хмель в голову колотит.

Калганит.

А буйно.

— Ту! А мы беспонятные. У нас команда. Так, ребята?

Нога ногу погоняет.

А не догнать — разбегаются.

Бунтуют ноги.

Пылают.

— Ух, баба... отрыжка у меня. Запить надо. Лей! Эх, эх, эх...

Пошел Корнеев в притопочку, колдуя четким перебором.

Память отшибить, эх!

В пляс пошел человек... а-а-а...

— Си-амка, потешь. Кавалер я легкой, а жительство мое тяжелое... Мил-лая...

И около голубем режет. Голубем.

— ... уважь душу...

Воркуют, скрипят подметки.

И эх, да эх, эх, эх - ха . . .

Паехали, паехали,
Хто пра - жира.
Хту пражи - ренок,
Хто есть жлутка . . .

Симка на припечье. Дрожат бока, что тяжелые ведра. Подкатился к ней фельдфебель, наседает бегом.

Борода горит. На погонах шевроны тают.

Хто ганец
Хто карыто
Стой, дубина! А - а . . .
Ак!

Упал Корнеев.

— Что пьем, то пьянеем, что живем, то блудеем . . . Ребята, убей меня. Ей - Богу, чего сделать с отрыжкой, не пойму . . .

Фельдфебеля уложили на полок — чтобы остыл.

Тою порой вечер уж небо спеленал, а по пеленкам звезды высыпали.

Солдаты полегли в предбаннике.

Баба Симка подошла к окошку — взглянуть на слободу.

Пожар, не дай Бог.

Чего с огнем бегают . . . Слобода лиха и гола, не остерегается.

Поглядела баба еще на черный выгон, почесалась животом о подоконник и, оправив у кивотика лампадку, полезла к фельдфебелю на полок.

4.

Горючие камни, песок, промоины в берегу и бурьян.

Лежишь у воды, что в корыте, а наверху небо.

Когда впитали камни вечернюю росу, комиссар Рыбин очнулся.

И сразу сердце ошпарило кипятком, сразу оно спотело и теплые обручи поползли к коленам. Шумела кровь.

— Жив!

Ощупал ноги. Одна пудовая, бухлая — не поднять.

— Пустяки... жив!

Лежал и слушал, как грохочет живое сердце. Не сердце — завод.

А над головой небо, тихое и благостное, как книга.

Ропочет сбоку бурьян.

Там ветер и птицы.

— Жив!

И ничего, кроме одного этого слова, придумать не мог Рыбин.

Будто все до него померкло; крестом перечеркнуто все, что было до минуты, когда нащупал ногу и ощутил сердце, и понял, что не то важно — жил или не жил Рыбин, убили его или не убили, а важно понять: птицу, ветер, то — что не слышишь, не видишъ, а знаешь.

Кружится земля.

Под телом шуршат зерна песку, рядом моет гальку вода и урчат твердые камни.

Рыбин встал на колена.

Хочет итти. Трудно. Нельзя.

Отполз и прижался к траве, пестрой и ситцевой от ночного свету.

Как зовется трава, Рыбин — городской человек, не знает.

Если - б и знал — не вспомнить.

— Жив.

Отдыхало и шумело в теле.

А Рыбин обернул уши внутрь и слушал, как стучит в теле завод.

И не заметил, что подошел к нему пес — пробуя зубами плечо.

И только тогда, когда уткнулись в упор чужие, жестокие глаза — понял Рыбин.

— П - шла.

Пес удивился. Взвизгнул. Но остался на месте.

Пестрая, мокрая шкура его отливала снегом.

Глаза у пса были настойчивые и старые, и сам он казался старым, старее земли и холодней камня.

— П - шла!

Пес вздохнул.

И почудилось Рыбину, будто, отвернувшись лениво задом, пес улыбнулся.

И потому, как нагло торчал и мотался в двух шагах от Рыбина жесткий, песий хвост — видно было, что пес издевается и ждет своего часа.

Липли от боли глаза.

Рыбин хотел еще немножко отдохнуть, но когда трава под спиной сделалась совсем приятной и теплой, рядом вдруг кто - то начал жмякать, рвать и захлебываться.

Приподнявшись на плече, Рыбин увидел, что пес грызет человечью ногу, отдирая когтями жилы.

И песий зад дрожит от жадности.

Мигом Корнеев сообразил, что делать.

Борода наежилась, дрогнула.

— Восстанье? На коммунью сторону?

— Не знаю. Удди!

Собрал солдат, вещи, наспех, шинель на плечи — и бабу ласково за живот уколупнул.

— А ты, приятная, заткнись. Придержи их, понимаешь?

Вспомнила Симка Паньку и слова' Панькины, такие же — смешно...

Жует баба смешок, что волчью горькую ягоду.

Понимает.

А я тебе перстенек подарю, приятная. Самоцветного хочешь?

Снимает Корнеев кольцо с пальца.

Глаза у бабы прожорливы, галчьи.

Подумала, взяла.

Солдаты ушли, звякнув клямкой.

Корнеев в спешке забыл в бане рыбинские сапоги и свою гимнастерку.

Да не вернулись, когда тут...

Сидит Симка на лавке, нехорошо жует губами горькую ягоду.

Ждет.

Заутрело.

Улыбнулась теплу баня.

Рыбин лежал на припечье — узкий и белый, закатив крепко глаз.

И лоб у него засинел.

Поглядела на его Симка, пожевала наливною губой.

На перстенек — зерно бурмистрово — полюбовалась.

И опять на Рыбина перекинула взгляд путаный, что узорное полотенце.

— Счастлив лядащий, живым выдешь...

Жгет бабью грудь не то ягода волчья, не то самоцвет — жадный камень.

Не знает баба.

Улыбается.

Небо русское — цветом помягче голубя. Родные просторы — зола, корчевье и пни.

Сухота. Старого лесу нет. Птице негде отдохнуть.

А нынче еще тухнут поля.

Прибывает на солнце тень.

Будто ломает его кто с краю, что краюху меловую ест.

Уж жирный кусок отхватил.

Слободские идут по выгону с винтовками, прямо к Симкиной бане.

Черно. Конца выгону не видишь.

Банька сжалась. Впотьмах от желавка не отличишь.

Над слободой спирально сгибается пельмановский, заводский гудок.

Начали.

В баню вошли уверенно.

Сапоги у них не молотом-ль клепаны?...

— Показывай.

— Нету их...

— Чего?

Дядя Катагоров, слободской слесарь — удивился. Тавлинку достал из сальных, копченых штанов.

А голос мерный — что станок. С кашлем говорит, горло попорчено.

Понюхал. Чихнул, табак с усов стряхая. А борода брита.

— Труп!

Крикнул Рыбин, и крик разбился о берега.

Нашарив ладонью щебень, Рыбин бросил им в пса.

Но пес даже не обернулся.

Лишь зарычав, сердито отбросил песок задними лапами.

Рыбин испугался — ощупал свои ноги.

— Нет... это труп.

И пополз от пса по обрыву.

Пес лаял.

Стало страшно, что он удержит.

Ведь, пес живет в обрыве, как хозяин, хозяйствуя над водой, камнями и мясом.

Когда, добравшись до черного выгона. Рыбину удалось стать на ноги, он, хромая, наугад выбрал путь, опять ошпарило кипятком сердце:

— Жив!

Молитву забыл, а помолиться можно-б...

Разлезалась под ногами осенняя земля.

Рыбин торопился и падал, и ветер трепал его; хватая за широкие, белые подштанники, точно собака.

А когда, где-то с отшиба моргнул навстречу огонек — якорь, радостно кликнул Рыбин, падая от боли, от слез на оконце:

— Люди! Люди!

5.

Но там была контр-разведка.

Рыбина внесли и уложили на припечье.

Еще зевали со сна солдаты, и Корнеев, спускаясь с полка, путался на ходу в гашнике от синих рейтуз.

— Засупонило, Матвей Корнеич.

Смеялись солдаты.

А сверху заглядывала Симка, протирая любопытные галки. И тоже слезла, вслед фельдфебелю, запахивая на груди рубаху.

Груди еще не проснулись, еще гудятъ они и жгутся с ночи.

От этого Симка злеет. И голос у нее хрипнет.

— Ну, его, кого голого выудили... что простынка.

И посмотрев на белое тело, узкое и мокрое, как у угря, плюнула.

— Лавку то опоганите...

Не любит баба таких.

— Да верно, невись что... склизняк.

Симка любит тугих и горелых, чтобы землей от их пахло и крепкой волос по телу рос, щекотал.

— Заткнись, дура жадная. Раскладай его, ребята.

Рыбин молчит, и опухшая нога тянет тело, что болванка.

Увидал Корнеева. Понял. Опять спотело сердце. И одно забилось — тайное:

— Спаси... спаси...

Будто ножом по горлу.

Рыбин закрыл лицо руками.

— Чей ты есть человек, в голом виде, а?

Прячет лицо Рыбин, что в коробку.

Корнеев нагнулся ниже и растрясся вдруг со смеху, точно яйца бьет.

— Ай, ребята, да ведь это наш... турман - то. Ну и парень ловкой... Ну чего теперь, побежишь, а? Симка, накрой его корявкой какой. Теперь, брат, не улепетнешь, ни-и... теперь я тебя представлю прямым сообщеньем.

Рыбин сказать хочет. Да язык вязнет. И болванка тянет ко дну. А холод моет бока.

Конец?

Пес-то лаял. И стало сразу — все равно. Вот и пес взглянул жестоким глазом. Дождался пестрый.

Ладно.

Опалило баню туманом.

И Рыбин потерял память.

Солдаты опять ушли в предбанник: досыпать.

Фельдфебель же, икая, крестился, точно бранки в рот пихал.

— Нет, теперь мне не заснуть, шабаш. Сон у меня противный, ежели перебьют, пропасть можно.

Чесал бороду — и скребся у стола, что крыса.

— Теперь не убегешь, ни-и... Тоже летчик называется.

А Симка завалилась на печь... Кряхтит. Переворачивается. Так неспокойный боров брюхо чешет.

— Ты бы, Симка, встала. А? Ей-Богу... Чайку бы заварила что-ль... Не заснуть мне. Нынче затменье сонцу быть, в штабе читали, знаешь?

А Симка с печки еле, еле:

— Затменье сущее...

Вздыхает, что кислая, стоялая опара.

А Корнееву хочется на живой разговор ее свесть.

— Подумать только, до чего народ дошел... Да что ты кряхтишь? Иль блохи тебя оглодали?

Вдруг с печи скатилась Симка. Об пол треснулась звончей горшка.

— Вон, ирод, вон, рыжая каменюга, вон уходи. Кабы знать, что у те руки мараны, дык...

Обиделся Корнеев, но разговор у его фруктовой и ясный — не выспоришь:

— Дык, дык... не подходящая ты баба! Как понимаешь? Служба. В сапогах ходить хочешь, пить — есть хочешь... Дык!

Тут стукнули в оконце — зовут.

— Симка.

Вышла баба из бани, клямкой жалобно звякнула.

— Кто здесь?

За частоколом жмется Панька из слободы.

— Я, баба Сима...

Шепчет сам и давится.

— У тебя ночуют эти...

— Ну, ночуют... чего?

— Ничего... Ты их придержи.

И дернулся, чтоб бежать, хвост задрав, вроде теленка. Да Симка схватчива.

— Не - е, стой, чего тебе, говори пред Истинным?

Пинжаченка у Паньки переметанный, еле висит.

— Не знаю. зарезать будто хотим. Нынче Литейная бунтует.

Всплеснулась Симка.

— Осподи, за советскую, что - ль...

— Не знаю. Гудок ставят опять. По гудку чтобы...

И уж пятки грязь хлещут, — убежал.

Вернулась Симка.

Не то на печь лезть, не то чай рыжему ставить.

Муторно бабе разбирать и темно.

Понятье бабье, что колодец, нельзя мутить.

Весь вкус спортишь.

А Корнеев мужик с чином и тугой, правильной. Да озлобили бабу, кинулась на него:

— Уу... ирод... Аслабани мене, уд - ди с'ызбы. Зарежут вас поничи заводские.

— Слобода?

АМЕРИКАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

РАССКАЗ

Ах, лопни моя голова!

Солнце то окрепло багровое.

Солнце то сладее вина — голу вьет.

В Елабуже нашем каруселит хмель — по каждому году в Елабуже ярмарка в престол Казанской Божьей Матери. Казанский престол в нашем Соборе - Камне. Камень грузен упал в плац, а протопоп соборный Егудил — осел вниз. И волосы у протопопа синие, каменные, прическа на два пробора. И голос жесткий, жестяной.

Ах, лопни совсем голова!

Распрекрасней Елабужа, медвянее, не сыщешь города в нашей земле.

Где нанюхаешься так по осеням, когда со всех концов мужик везет под соломой антоновку? А у антоновки небесный, райский дух. Где такой базар, чтобы весь плац желтым крутым пшеном затопило. Да где баба пшаная и плюшевая, крутая такая баба, где? Где - ж в самом деле подобный восторг, чтобы жирные борова корок не жрали, где невзыскательный жилец столичному пройдиводу не верил? Где?!

— Ох - ой, с чего вас пучит! А у нас... слава - те, лучше прежнего живем... Сообщили нам, будто на голоду - то человеку счастье. Ой, правда - ли? Будет еще казус, будет...

Жались привычно на сытом воздухе — это у нас всегда.

Сегодня — аккурат к престолу — приехал из столицы продотряд налог собирать.

Продотряд шатается по ярмарке стаей — не верит. Разве можно после тысячи мокрых рельс, да после рыжих грязей, когда семьдесят с гаком верстовых отжарили верхами, намяв зад узким японским седлом, — неужели сразу можно чудо и восторг: что от пшена хоть мри да мужик еще тебя самогоном зальет.

Лукав мужик и строго овьет, да замилует. Начальство подчевать годится. Глядишь — облегчение.

С утра продотряд жестоким хлебным заправился. Да на обед вдвое обещано. Веселая жизнь!

Мужик слабость любит. Ах, лопни моя голова!

Ярманки еще не благословили, а уже милицейский Вятка ружьем мужика будит (мужик - то под возом кочевряжится, куделью выметая крепкий коний кал, вдрызг пьян мужик).

— А вот пшаная, что надо, с яишками, с маслицей...

Шипят поджарни, шершавое пламя таганки кусает. Люди ходят, облизываются. Сдобна пшанор.

А Илью Грибуна, продотрядского старосту, удивление берет.

— Чужой народ, чужой будто... сытей.

Когда в Соборе - Камне синий протопоп здравственный молебен откадил, и колокольня когда отбрякала— зажглиларешники ярманку.

Продотряд — верная дюжина, шашками перегромыхиваясь, за народом искоса присматривает.

Илья Грибун — бывалый (мадьярскую землю знает), а и то...

— Упустила, стерва. Тебе - б...

Поддало Симку.

— Сам едакой. Ушли. Не с пушки-ль я-ль, палить тебе стала-б...

И нахально задрала ситцевый подол.

Но Катагорова не собьешь. Обернулся к своим. Те в углу — тучей.

— Дела. Вспороть ей организм...

Опять к Симке.

А она:

— Не знаю.

И сам Катагоров между ней и своими, что тяжелая чугунная туча.

Ух-ха...

Вздохнули веско.

— А это кто?

Симка подолом утерлась.

Злее на чугунную тучу глянула.

— Не знаю...

Нагнулся Катагоров, фельдфебелеву гимнастерку заметил.

Поднял.

— Ишь, блястит шкурка... Его?

— Не знаю.

Заплыл хитрый бабий глаз.

— Вона и сапоги, форсистой сволóчь... Тоже не знаешь? Паскуда...

Дядя Катагоров показал бабе сердитую чугунную спину и, осторожно подойдя к Рыбину, скинул с тела корявку.

— У, настоящий белой... Пузо узкое, шелковое...

Ухом к груди приложился.

Послушал...

— Ничего... работает...

И будто делом — правую руку к своим протянул.

— Струмент, товарищи, подай. Да не то, револьверт свой у мене. Тут нужно тихой... Береги пулю.

Нажал литым ножиком по горлу и горло, точно замок, отомкнул.

Рыбин хлипнул. Поджал ноги. Опомнился.

— Жив.

А из горла уж выполз густой, багровый пузырь.

Симка завыла на печи.

— Не реви баба. Не тебя режем, а эту мерзасть не жалей. Камуну заведем.

Катагоров был тверд и спокоен.

У черного выгона, прямо на отшибке ждет пестрый пес, облизывается.

Песий нюх вострее ведь глазу.

— Не тебя режем, — кашляет Катагоров.

А пес ждет, жестким хвостом мутит, играет.

А от песьего хвоста тень бежит, растет тень по солнцу.

И все суровей, все темнее тухнут голые поля.

Поле за поле.

Черен наш выгон. Земли черней и суше.

А пес старее земли и холодней камня.

И шкура его отливает снегом.

1922 г.

— Тоска, братишка... Можно... от-то болезнь моя. К погоде, должно, груди рвет, ровно ребенок.

— Какая коммуна тут...

И гуляет эдак продотряд стеночкой, друг дружку прижимая. Ерятся, переблескиваясь, перезванивая шашками. И прядает бочком от них невзыскательный елабужский жилец.

— Мы ничего. У нас тихо...

Гордость вьет от таких слов, пуще самогону веселеет продотряд.

Вон, по сборным ступеням, тяжко ступая рыжими сапогами, спускается елабужский непокрытый протопоп и, упираясь лбом в багровое солнце, кричит на бритого нашего старосту, отставного гусара Сазонтова.

— Не дело, не дел-ло! Мерзость и пакость водевильная, оглашенным смута, дворянский дух. Ежели нутро твое не держит, не пей вовсе, твори другую пищу, а в божественную литургию из храма старосте за нуждой минутно бегать — не дело. Стыд!...

Народу известно — за что протопоп жестким голосом пробирает Сазонтова. И ничего Сазонтову: гладкие, бритые щеки пучит. Нет щек, глаже сазонтовских. А он их шарами надул.

Гордец нынче публика.

— Счетом ошибся, отец Егудил. Сами понимаете, новый календарь и Богу взяд на тринадцать, раз-два с треском...

На тринадцать чисел...

Остановившись, прельщая Елабужь лукавыми бабьим глазом, нашарил Егудил в толпе Сазонтова.

— Сты-ыд, сты-ыд тебе, почтенному к новой израильской секте примкнуть, сты-ыд!...

— Отец Егудил, не я... Это Рим... папы Григория VII.

. В ужасе застыл Егудил, синеют каменные волосы и голос жестче жестяных крыльев.

— Ах-ты, кавалерия и софист. Не имамы иные помощи... На что надеешься, прости Господи, какой аргумент! Папа — папист и католик, а ты православный — дворянин...

Гнувно взреяли протопоповы жестяные крылья.

— ...Да ты не ферлафонь, не финти, не то не только непотребное организму, а всему нутру твоему истлеть, всему нутру, стрелец дичи и московский виван. Надо было, чтоб тебе хвост прижали. Скажи... Григория VII, Рим. Какое счастье... Тут тебе не Москва, запрещаю волю — слышишь? Вот мой устав. Бога благодарю... Господа моего...

И тут над народом протопоп руки простер, и глазами выпил солнце — багровое вино.

— ... Бога благодарю, что вам дворянам большевики хвост прижали.

— Он прав не имеет. По декрету поп лишенный человек. Нынче наша приходская власть, при разделении церкви...

Не спрячешь шопота от протопопа.

— Та-ак, так. Слышу...

Смеется Егудил грузно, важно, жестяно.

— Разделение... А ты в горсть собери и зажми. Церкви не понимаешь. Церковь моя — камень. Как Павел вопрошу тебя: разве разделился Христос?... Сумей в горсть собрать, вот счастье, а раз-деле-ние... эка дело. Гус-сар!...

Плюнул жирно отец протопоп.

Солнце скользнуло по каменной протопоповской голове. Накрылся протопоп камилавкой и ушел.

Когда по ярмарке растеклись люди, всякий с усмешкой подумал.

— Чисто его протопом отбрил.

Не от того ли студнем дрожали гладкие сазонтовские щеки, и пылала шея?

Что за город, где у кутейного голос звончее шпоры. А невзыскательный жилец порядка не чувствует. Сторонясь продотряда, куражит. А продотряд не знает — как себя понять...

Илья Грибун понимает.

— Эт - то, братишки, не иначе — немецкая епархия.

— Сытой народ. Чего - бы...

Скука вьет.

А солнце багрецом растрескалось по желтой степи.

В осеннем ветре густой, ясный дух. За городом хрустят луга, нагибаясь горбами к Батыри. Хрусткая Батырь парит горячее кипятку. Батырь — татарская, крепкая река. И запах у нее татарский. Небо оледенело — хоть шашкой руби.

II.

Сазонтов идет с начальником милиции, студентом Митюшиным.

— Кажется мне, товарищ Митюшин, что у протопопа превышение власти. Соображая о близости чехо - словака, надо бы протопопа раз - два с треском... Я, как соборный представитель...

Митюшин — робкий и вежливый, с наклоном человек. Ему слушать, а не говорить.

Робка ракита у пруда.

Вот Сазонтов прошлой жизнею любит форснуть.

— У меня юридическое знание из опыта. Московские знакомства, знаете, все больше прокуроры, прокуроры, сенаторы тоже... А цыганок вы любите? Ах, раз - два с треском... грудь у них необыкновенная...

И если сейчас ущемленное состояние, то, ведь, мечты сазонтовской не раскроешь.

Елабужь думает: не зря Сазонтов пять раз на дню самовары палит, московская привычка. Хоть слабо нутро — а запретить чай пить нельзя. Дерево в степи дорого. Не зря... С самогоном Сазонтов чай пьет.

Горит наша ярманка.

Продотряд пообедал, и еще бесстыднее закуражились: в глазах бабы, оголясь. Небо аленьким платочком манит.

Душевно жить, когда ржаного хлебнешь.

Ах, лопни тут голова! Гармонька... В присядку наяривай, Илья ладней каблуком топчи . . . Сторонись, прочие!

Наша родина — кругом мать земля. А на епархию — плюнь, братцы...

Елабужь — пузатый город, мужик пахучий, баба крутая — Питера не нюхали, подлецы.

Жги!

Дунька из продотряда гармонькой лихие лады наигрывает. Спотыкается частая меж ларей.

А по большаку стучат телеграммы:

— Все, как один, на борьбу с белыми бандами.

Бегут по степям.

А нам урвать бы кусочек счастьица. На пожаре живем.

Чего Данила не придумает: всю ярманку сбил. Темя Данило тюбитейкой прикрыл, а лица у Данилы нет. Просто тарелка. На тарелку нос брошен, да пара зеленых глаз, да огромнейшая данилина улыбка.

— Ах, вот, да, вот, катит, прямо в рот лятит американский профит, товарищи - гражданы . . .

Табуретка у Данилы неважная, а на ней листок. А в листку кругом цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а в середке тарелка со щербинкой. По тарелке крутит Данило катушку - волчек, вьется вьюном... Где упадет — на какое число, там огребай с лихвой денежку — Данило платит. На пустышке ежели, ну, тоже не взыщи. Судьбу пытаешь, а она одна у нас.

— Данилкина катушка — всенародная игрушка...

— Кому надо американское счастье?! За одну даю пять, за две — десять, за три — пятнадцать, за четыре — двадцать...

От щедрости ползет Данила — не лопнула бы улыбка пополам.

— . . . За пять — двадцать пять.

Тяжко смотрит Илья Грибун на игру.

Сердце борется, пятипудовики кидает...

Каждому кусочек надо...

— Эт - то в грудях рвет, с крючников, еще вмолоде моя болезнь.

Стонет, бьется волчек по тарелке... Один круг, второй, дальше... Не остыв — несется ловко, бешено.

Так Данило счастьем торгует.

Дышит жарко, потом дышит народ — каждому урвать хочется.

Играет Илья.

— Ладно, мы секрет — моментально . . . Питерские. Еще на пять.

Верткий волчек счастье ищет.

— Да не моя катушка — заграничная игрушка...

— Американска счастья... На одну — пять. На пять — двадцать пять.

— Я те хомут одену. Еще пять. Моментально.

От радости, от щедрости Данила себя заложит.

— Ка-аму... пахарям ведра иль ненастья, а нам дуракам, заграничного счастья... За одну пять...

Гудит волчек, взлетывая в кругах, скрипит, задевая по трещине... Поет сладко.

— ... За пять — двадцать пять!

Вдруг не вихорь — Илья с громом:

— Тпр-ру. Народ жулить! Он, братишки расселину сделал, зачеплять нарошно... Чтобы.

— Стебай в морду... Бей!

Да, не даром Вятка дежурит на ярмарке (треух со звездой и ружье по должности, как полагается)...

— Гражданы, разойдись! Стрелять буду.

Визгнула в воздухе резвей кошки данилкина табуретка.

— Гражданы... команда... стрылю...

— Рази затем тебе, дураку, ружье дали, чтоб стрелять...

Порснул меж ларей заячьей петлей свист.

— Стебай, Дунька!

Стоит лишь драку досками зажечь — займется огонь. И Данилу бьют, и Вятку бьют. Душа распахнулась — чем уймешь? Гори!

— Бей!

Когда пришел с милицией Митюшин, побежал народ с ярмарки.

Продотрядники — стаей.

Митюшин, робкий и вежливый, не знает, как начать.

— Прошу вас, товарищи, на допрос...

— А он жулить может?!. Врешь! Уходи, ребята. Не давайся...

Продотряд, качаясь, перезванивая шашками, ищет выхода.

— Товарищи, прошу вас...

— Не давайсь! Бей их... Моментально расчешем.

Три раза, кланяясь, просил Митюшин:

— В виду близости фронта... Честью прошу — бросьте оружие...

Гордяки нынче народ.

— Не давайсь...

И пробный выстрел, вежливый и робкий, как сам Митюшин, упал за плац, в степь...

— А — аа... а...

Продотряд щелкнул ноганами. Загалдели ноганы нестройно и гулко по ларям, как галки.

Спорили, пока хватило патронов. Потом собрал Илья своих в цепь.

— Шабашь. Напролом надо, братишки, шашками...

Только Дунька с гармошкой к стенке прислонился, тошнее синьки с лица...

— Мне, Илья Мироныч, невозможно... У меня заряд...

— Заряд!

— В животе застрял...

— Заряд. Эх, на Раве не бывал.

Илья цыкнул. Чего жалеть...

— Нынче, Дунька, смерть-то, что вошь — не обережешься... Ну, мы, моментально — шашками... А ты — ничего, оживет...

Дул вечерний ветер, и волосатые тучи, легче оческов, летели с неба.

III.

Нет места ровнее степи. Оттого и ярмарки веселее степной не сыщешь. Оттого и кобылы здоровее нету, чем степная, кормленая на дикой траве.

Восьмерых из продотряда заарестовала милиция, двух милицейских продотряд порубил шашками, а четыре продотрядника все - ж проскользнули ловчей комара.

Ночь пришла, наклонилась. Храпит пузатый и сытый Елабужь (у нас спокойно — у нас такой восторг — что даже борова корок не жрут).

Новых восьмеро в Харчах - остроге. Дремлют лениво изрезанные решеткой окна — горят в ночную степь, чтобы запоздалый кто, под'езжая, знал: острог ... город тут ...

Просто и ровно живут люди в степи — ветру можно соскучиться, коли бы не ярмарка ... Раз в году.

Оттого нынче Сазонтов повеселел, оттого ласково уговаривал четырех продотрядников, что случайно запрятались на задах, в сазонтовской бане, — к себе зайти.

— Ты, Илья, не сомневайся. Спасем положение. Такой кунстштюк, раз - два с треском, когда у Яра цыганок били ... Тут, брат, чехо - словаки близенько. Небойсь, не посмеют.

И опять поил самогоном. И захлебывался от радости Илья, и товарищи захлебывались.

Счастье человеку, коли смехом проживет.

— Я сам, братишки, господин Сазонтов, понимаю, что он жул - лик. Потерян - но дело. Нам теперечь все он - но — двадцать он - но ...

Вер-рна. А что мы не коммунары — так вер-рна.

— Верн Ж. Хлебай, сволочь.

Пылала от жары и самогона шея сазонтовская.

Лепешкой заедай. Я, ребята, люблю скандал. Я ему под кутейный хвост подземной фугас, а он — панихиду... тоже... Великие умы, может, на кострах горели, а они молчат. Им рожу обмочи — утрутся. Им бы только керенки в землю прятать. Степь...

Перед Троеручицей трещала лампадка. В темноте качались у стола рваные тени. Только Сазонтов, под самой той щекой.

— Я, ребята, оборудую... раз-два... Соборный там староста и гусар в отставке, а турецкий год знаешь — не знаешь... Я, брат, спьяну такое оберну, верный способ. Пей. Вон — моченое... А банчишко еще сорвем, так...

— Это-то верна, сорвем...

— Вер-рна.

Качались четверо лохматых сразу. Сыпалась крошка.

Сазонтову было жарко. Он стоял в одной рубахе и подштанниках.

— У меня даже шпоры есть...

Осенняя пурга дробила стекла. Степь металась — как то волки выли за городом. Или то она сама, голая и нахальная, гоняла по сопкам сусликов.

Низко спустилось небо (в такую ночь можно придавить им Елабужь).

Среди ночи вызвали протопопа на допрос.

Конвойный, спотыкаясь о замершие комья, падал, хватаясь за протопопову рясу. А Егудил шел тверже каменной степной бабы.

И около фонаря, где фонарь показывал Елабужу огненные буковки: —

Полит...

(дальше тьма с'ела румяную вывеску, — остальное, может, буран зашвырнул в степь) — около фонаря, где трещали тревожно огненные уголечки:

Полит...

около фонаря, где сопел караульный, уронив во сне ружье из рук, около этого самого фонаря остановились протопоп и конвойный, чтобы перевести дух...

Ведь лил ливень, и горело:

Полит...

Конвойный, сморкаясь в пальцы, строго спросил протопопа:

— Смокли, отец Егудил?.. Сюда, пожалте.

Комната, где сидел Митюшин, желтая, шпалеры с прожилочкой, под дуб. В углу буфет без дверок, и в буфете кучей бумаги и папка. На столе печать и подушка штемпельная...

Да — штемпельная подушка.

А за столом кто-то, тоже желтый и степной, и в углу другой кто-то, но не желтый, а буро-расплывчатый опирается на рогатину.

Конвойный припустил света.

За столом спал Митюшин. А из-за угла сурового косился на него медведь. Под чучелом бронзовая доска:

**Убит на охоте Его
Императ Величест
Лисина 15-1-1885**

Протопоп встал в третьем углу, оглядел свои рыжие сапоги, хотел что-то вспомнить и не мог.

Конвойный осторожно тронул Митюшина.

Митюшин проснулся и, скручивая тоненькую робкую папиросу, вежливо пригласил протопопа:

— Прошу сесть...

Стряхнул пепел.

— Говорят, после обедни агитировали... В чем дело?

Тут дрогнул сразу Егудил.

Вспыхнула тьма:

Полит...

Прожгло...

«Безумно отличать день от дня —
каждый день равен».

В ладони зажал огонь Егудил. Лукавым бабьим глазом уперся в Митюшина.

— Агитации не вижу, не веду. Только вера одна есть, что непристойно дворянскому вивану предстательствовать пред властью. И Бога благодарю, что советская власть им хвост ущемила. И веры с ним не хочу делить. Не дел - ло. Ежели сомневаетесь, то и здесь я громко возглашу, что нет у меня разделения... Власть сущую утверждаю...

Протопоп отхаркнулся, слюна подвалила.

— ... Утверждаю... да по тексту — ниже Малахия, но как бы Христос сказал, что не могу Иакова полюбить, а Исава возненавидеть.

— То - есть, попроще, гражданин...

Протопоп разгладил в два пробора синие волосы, ухмыльнулся и начал уверенно, как обедню:

То - есть... Гвоздю подобна советская власть...

Подумал, поглядел на рыжий сапог и опять уперся глазом в Митюшина.

— Ее бьют, а она крепче.

На обратном пути, шлепая в хрустких лужах, плелся протопоп, радостно распевая:

«Не имамы иныя помощи.... не имм-амы ин-ныя наде-ежды»...

В ранний час оттаял буран и отчетливо читалась как паспорт, вывеска:

«Полит-бюро».

В ранний час все просто и серо.

А протопоп шел грузно и путано. И что-то пело в нем: «Разве теб-бе Зижди-телю»... О, Владыко, чего хочу? Научи.

И хоть знал он, что нет в степи легких людей, но всех грузнее казался себе он сам, протопоп Егудил.

И у Собора-Камня на сырых ступенях упал коленопреклоненный.

— Боже мой, да не в осужденном кругу истинное осуждение...

И, вспомнив императорского медведя, рассмеялся на весь плац громко и жестко.

— Ничего... пускай.

На протопопов голос откликнулись ржаньем стреноженные за собором лошади продотряда.

О них все забыли.

IV.

От пурги озябли улицы, остыло небо. Елабужу лень вставать (да после ярмарки и голову метелит).

Вятка было пошел по дворам слух разносить (Митюшин дозволил).

— Протопоп-то убеждает... Крепче, говорит, гвоздя.

Да вдруг на Главной (теперь — Рабоче-Крестьянская) свист и стон. Топчут твердь, гремя копытом, четыре коня, высекая комья и искру из камня. Крик спутал залпы, и залпы, как галки галдя летят к плацу и, обалдев от гула, падают в ларях.

Ах...

Припав к луке, четыре продотрядника несутся, раскручивая белый плакат. А с плаката скачут четыре черных слова:

«Да здравствует Учредит Собран».

В домах нагретые пуховики дрожат.

— Чехо-словаки, Господи! Машка, ворота запри!

И хоть мечтается о выигрышном, но моркотно и страшно.

— Ой, будет еще казус...

Да разве только четыре коня, разве четыре черных слова?..

Пальба всколыхнула Елабужь.

Не сами-ли ворота в Харчах растворилися?..

И три острожных стражника побежали в степь.

Напрасно Сазонтов потел на улицах.

— Коммунистов трави! А-ту! Трави...

Коммунистов уже не было. Совдеп пуст. Коммунисты ушли на курган, где белый духовный дом (прежнее духовное училище), и заперлись там с пулеметом.

В городе осторожно забегали люди: будет ли казус...

Так ждали до вечера, пока Сазонтов не напечатал афишки.

Расклеивал ее милицейский Вятка (нынче он уже в новой должности).

Граждане, Советская власть пала. Мы борцы за освобождение, как князь Пожарский и как мещанин Минин, призываем всех . . . .
. . . .

Мужики, приехавшие с крутым пшеном на базар ждали, что вот вечером откроют кабак, да не дождались, от'ехали, разнося слух по волостям.

— Чехо - Словак, тот откроет... Это уж вот как.

На улице все - ж пахло самогоном. А ночью продотрядники вместе с охотниками оцепили белый духовный дом.

Оттуда татакал пулемет. И войти в дом не было возможности. Дом обложили деревом, соломой, подлили мазута и зажгли.

Когда пошло чесать огнем рамы, и ухнула, разбрызгав штукатурку, первая балка, в доме запели Интернационал.

Но Митюшин не выдержал, он высунулся из огненной рамы и вежливо попросил:

— Прошу вас... сразу... товарищи...

Бунтари стояли кругом с наганами.

И вышло по просьбе.

Сра - азу...

Как просил.

Стоило кому прыгнуть из окна — тут же, подстреленный на лету, падал легче дрохвы.

Хрипел Сазонтов.

— Так их, палки зеленые, так! Раз - два с треском.

Когда потух белый дом, спохватились — что удрало

казначейство. За ним послали погоню. И в Елабуже стали формировать регулярный отряд.

И круг за кругом катилась карусель от Елабужа в Унжу, хмелели деревни.

— Ешь - те . . . так . . .

А Сазонтов, уполномоченный Елабужа, уж визитовал у отца Егудила.

— Просим отслужить благодарственный . . .

— И за упокой проси.

— Можно и за упокой . . . А каков вольт? Способ мой как вам понравился.

Гладкие щеки Сазонтова лоснились румянее солнца.

— Веры не вижу, не вижу. А дней не разделю, все дни равны. Богу обещал. Не знаю, Сазонтов . . . Надо поднять мне большое дело, а силы нет.

- Раз - два . . . вот.

Хмурился протопоп, топорщились нечесанные синие волосы. А в голове текли мысли суше и грубее камня.

Во время молебна — не то от радости, не то от плача, — сам не понимая почему, изнемогал протопоп, когда жалобно играл голосами соборный клир:

. . . Не имма-мы ин-ныя помощи,
не имима-мы ин-ныя наде-ежды . . .

А за дубовым свечным прилавком гордо надувал бритые щеки староста Сазонтов, не стесняясь протопопа, поминутно выбегавший в притвор.

(— . . . Переложил . . . это правда, раз - два с треском . . .).

Егудил после службы голосом не только жестким, но совсем жестяным, упрекнул старосту.

— Похабна — твоя натура. Фокус с флагом, не дел - ло . . .

Опять пили самогон.

И, перегромыхиваясь шашками, еле держась в узких японских седлах, качался задорной рысью по Главной улице продотряд. Для порядку.

А Илья Грибун (дежурный в совдепе), пьяный, плакал, глядя на ободранное чучело. В суматохе кто-то освежевал зверя, сняв густую шкуру на теплые, верно, сапоги.

— Ур-рвали, ах подлецы!

Только доска бронзовая прочная:

Убит на охоте Его
Императ Величест
Лисина 15-1-1885

— Терпи. Мужик-то наш чужой, хуже немца.

У совдепа в канаве валялась сорванная вывеска. Из черной тяжелой воды вылезал один ее красный край.

П о л и т...

Но Елабужу не о чем думать — мерку потерял. Игра пошла — пей, запыживай!

А из воды край торчит, разиня рот — и буковки, точно зубы:

П о л и т...

V.

По осеням всегда преют за концами, за степной полосой багровые тучи. И суслик ноет, зарываясь в сопки. Поднимается с плачем журавль от Батыри и летит со скрипом угловатой грудой, чиркая крылом по небу. И, глядя на него, хмурятся голые степные горбы.

Вчера отстучали по большаку телеграммы: «Идет красный отряд».

Не вьется нынче дым из труб в Елабуже. С чего ему виться - то...

Растормошились люди, ладят фурманки (к ночи, гляди, опять теплом шляк распустит).

— Молебна - бы надо. Теперь всех укалят. Засыпка всем.

Так убеждает белый мельник, что давно поскупал все керенки в Елабуже.

Сундуки грузят на фурманки. Ревет скот.

Плещут улицы.

— Пить дать, — упихают. Надо где - либо за степой счастье пробовать... Ой, казус...

Только те не тоскуют, у кого заботы нет — благо цыплеша какого последнего и того кот - крысянец случаем слопал, — а без имущества человеку легко жить: ни таракана у него, ни страху нет...

Взять хотя бы Данилку. Одна забота — тарелка щербатая.

— Стружнули животы. Буде, побаловались.

В сумеречье, в желтый теплый туман уходил, не оглядываясь, народ. За ними уплывали фурманки, а вместе с фурманками уплывал и туман.

За пять верст от города зарылись в окопы елабужские отряды и пять часов вподряд били из пулемета.

Но когда сбоку, от деревни Шагры, вылезая из пожухшего лога, на рысях пошла конница с красными значками, — елабужские стрелки снялись. Отступая десятками, загораживались от конницы пулеметным огнем, чтобы успеть спокойно и во-время докатиться до Батыри и переправившись закрыться в степь. А про степь был один разговор, что там ждет чехо - словак и броневая машина.

Только один протопоп лежал дома на лежанке. От тепла таяли мысли, растекались. Протопоп их ловил — не мог поймать и плакал.

— Куда? Куда бегут... Господи, ты веси, а я не понимаю Тебя.... Силы нет... Как соединить...

Растет в степи репей, по шляху мать-мачеха, на курганах спят каменные бабы, из'еденные пургой, — тонут в грязи обозы. Едут туда, сюда...

VI.

Весело били в набат. Да, весело били в набат с соборной колокольни.

Это потому, что арестованных вводили в город.

(У Батыри, ведь, конница все-таки догнала обозы, отрезав хвост. В хвосте попались Сазонтов и еще несколько бунтарей).

Колокол бьет...

Илья Грибун рассматривает конницу.

— Какие ноничe народы... У-у, в грудях рвет, должно, болезь.

Остановились на плацу, у Собора-Камня, дожидаясь приказа.

Остроглазый начотряд прохаживался вдоль забора, разглядывая сазонтовскую афишку:

Граждане. Советская власть пала
мы борцы . . . .
. . . .

При чтении у начотряда презрительно топорщился из под шлема острый, нафиксатуаренный начес.

На улице солнечно и дымно, ветер кованый и холодный, и от него стекленеют глаза.

Когда верховой привез приказ, начотряд скользнув по печати, спокойно сложил его вчетверо и спрятал в бумажник. И только хотел подать команду:

Трогай... как выскочил из цепочки Сазонтов.

— Товарищ, разрешите к заборчику...

— Чего? — удивился начотряд.

— К заборчику... за нуждой... не могу терпеть... слаб организм.

Хохот птицей взлетел к куполам.

Растерялся начотряд.

— Ходи на ходу, тут тебе не Кузнецкий мост.

Партия тронулась. Сазонтов гордо надул щеки — кудлатые, не бритые.

А никто не знает, что тою порой, глядя сквозь круглое окошко соборного купола на пальбяное, багровое, в морщах небо, протопоп простерся перед алтарем, спрашивая и боясь.

— Господи. Нежели Ты — огонь?

Но не слышит Бог жестяного, лукавого голоса.

К ночи, когда солдаты лагерем устроились в ларях, в тех, что еще на ярмарку сколочены были, — меж серых шинелей, меж костров, коньего кала и кухонь с походным варевом опять приспособился Данило.

Опять вьется, свист и стонет волчек, взлетывая, вычеркивая на щербатой тарелке круг за кругом.

Опять толпятся у волчка люди.

Такая наша судьба.

У Данилы тюбитейка на ухо, доволен Данило — огромнейшей лопается улыбкой.

— Бело, красно — не напрасно... Без пристрастья, американска счастья... Кому, да кому...

— На одну — пять, на две — десять...

Поет над ухом, летит, манит.

— ...Плачу за пять — двадцать пять.

— Твой кон.

В эту ночь татарская Батырь залезла под ледяную кору.

1922 г.

ПОДВАЛ

РАССКАЗ

На пристань ощерился череп — дом пазовский, гостиный двор. По фасаду облупились две пары столбов, раньше под колонну выбелены были. Перед домом иссохшая поляна. А на пазовском крыльце постоянно сидит, проминая приступочки, сам старик, — глядит промеж двух тумб на серую лысь, на протоптанную полукружьем, прослеженную до корня мураву — это в рюхи игравши по вечерам, избили ее в конец. Старик все сморкается в пеструю тряпку да буравит глазами... Уж не он ли вострым глазом траву выполол?

Так и сидят, так и смотрят друг на друга, оба лысые, старые — точно сердятся.

У Пазова старика (впрочем, молодых - то и нет, кроме Тайки) — много дела. Третьи сутки блыкает по волости новый человек, с бумагами из Питера, всех в Свеяге взбунтил. — Надо его углядеть. Человека возят то на катере по реке шлюзы проверять, то на пазовской коляске, емкой и нетрясучей, по ближним волостям.

Новый человек обряжен в кобыляк, и штаны, и шапка — тоже; весь кожаный новый человек. Ему уж и кличку нацепили: Кожаный. За околышем черной грядкой кучерявится волос, походка щепетливая, но за мелким шагом Кожаного, чтобы вровень итти, прискоком колотятся советские. Пушков, председатель со-

вета — ходячая веснушка, поспевая за Кожаным, употел страсть — настоящая глазунья. А у Кожаного хоть бы одна потинка под козырьком выступила; сухой — не липнет волос к мозговитому лбу. Такой Кожаный.

Уследи - ка за ним с приступочки: замает... А пуще — страх томит Пазова. Как еще обернется этот Кожаный. Свеяжское начальство перед Кожаным кадрелку пляшет. И старый и малый кайкуют: Кожаный — большой человек... У больших же всегда в правом кулаке горе зажато, а в левом — радость. Который кулак разожмет?... Всего жди.

Второй год хоронит свое добро Пазов под пудовыми замками. Накопил живота за обманную жизнь; и в клетях, и в гостинном дворе голодному богатая пожива.

А главное: на скотном, у свиного стойла еле видна из загноя веревочка - вьюн, а веревочка та к четвертной привязана; четвертная бутыль — первое бережение, полнешенька синих, красных, розовых кредиток с разными размалевками, царскими картинками; на четвертную зажмурясь взглянешь и то ослепнешь. В оборот на теперешний знак какой мильон под свиным стойлом выйдет. Нарочно привязана веревочка, чтобы пробовать: здесь ли радуга? Два раза в сутки дергает Пазов веревочку. Утром, после молитвы, еще чаю не пивши навещает: — Тут! Радуга тут!

Вечером встречая сон, отходя к ночному молению (богомолен стал в старости)!

— Тут радуга!

Не учуял бы Кожаный, нос то у него вострый шмыгун; такой нюхач любо - два.

Зря что ли Тайка углядев, как чешутся у Тимохи Пушкова веснущатые руки, свет ему застила девичьей

ворожбой; обвела круг своего лукавого мизинца, серым глазом заманила душу, улестила сдобного игрень-словом.

Парень-то жадюга, рад был заховать пазовское добро, а однако вот уж год все с Тайкой, все вместе. Вместе бумаги подписывают — начальницей стала; прочий народ перед нею струнку тянет. Курносые эти — завсегда бойки.

У людей стон, а у Пазова сон райский; одна Офимья, пазовская стряпуха, богова страстная свеча, до седых волос горя заботой о хозяйской чести, перед самим канючит:

— Запретить должон. Ты бы о душе подумал, гляди скоро венчиком прикроют, а о чем пекешься... Торгуешь девкой, купец...

Пазов хохлится.

— Ума палата, тебя не спросили.

Дак что, взадарам нечистому в лапы девчонкину душу суешь. Не жалко тебе родную кровь на остуду?

Ногами сучит Пазов.

И нынче опять у Пазова со старой перезвон завязался. С утра начал сам на живот обижаться да новые порядки этаким словом крестить; Офимья и бухнула спроста:

— Не ершись . . . не долго тебе подлещиком брызгать. Доберутся.

— Каркай, ворона!...

— И именно. Наперед облешавши народ, а потом отишают. А вам давно пора зубы отбить.

— И ты — дура! Слышала: Бога долой? Не где-либо — у нас было. Натормашь все, к кузькиной матери. Выдумают: и архангела Гавриила на трудовую работу...

Буравит зря языком...

— Матеросы эти, широкоштанники, ступню, Богом данную, портками закрыли, на тумбочках словно ходят, бесы копытные, они сучат — и ты с ними... долой, долой... А Бог?

— Не ершись. Неврнз, а станет. А о Боге не тебе думать. Дай пройти неукройному времени, а там на часу и лампадку засветят. И скажет Бог: гори, милая, ярче.

Расчесывая пальцами белую жесткую бороду — седое струганье — греется смиреха на припеке.

— И чего это у меня голени зябнут? Погоду, надо быть, обещают.

К Пазову подошла Клякса, ластится, хвостом с сапог пыль схлестывает, руки лижет.

— Что, черная... Хозяина нету, командира твоего пристанного, Семен Семеныча нету...

Дыбит Кляксину шерсть костлявой рукой.

— Какже-с... Обозревать поехали с Кожаным. Формы у них новые пошли, кобыляк на всем, какже-с! Начальство, прости Господи! Поди рванью был, заброда блудливая.

Помялась Клякса у пазовских колен, соскучала. На счастье зикнул Дрюнька, причальный мальчишка с пристани, — кличет. Несовестно и убежать, а то ведь старик со струганой бородкой все-таки хозяин, хотя бы и ночной; днем-то Клякса на пристани водится, по станции рыщет, а на ночь Семен Семеныч отпускает ее беречь пазовский двор (свои псы не живут: не то со двора сбегут, не то сдохнут). За службу старик кормит Кляску щами.

Дрюнька — снова в два пальца. И Кляска покрутившись ткнулась мордой старику в коленки и, соблюв

вежливость, метнулась на дорогу, отхватывая саженями.

Пазов опять один.

— Озорство на уме... Тоже растут спекулятчики. — И собака за ними, блудяга.

Пристань — сытая баба, вальяжно покачивается, шевеля заманно широкими бедрами, поскрыпывая тонким голосом, позвякивая браслетами, что тянутся к сваям, удерживая разгульную. Не они, так унеслась бы она в перегонки с пьянчужками волнами. Хмельна Свеяга искон века.

Об'якорившись по весне, к августу пристань забуcела, отгладились под тысячами локтей шершавые перила.

Зеленое и белое, да бурая вода, да на глазах Семен Семенычевой каюты от воды и солнца хлещутся медяшки.

Река неустанно плескается, ворчит на разбитую запань, вцепившуюся зубьями в плитняковый берег. В кучи сложена третьегодняя плита; теперь каменоломня стоит — не ударит кирка, только щебень, вырванный с отвесов ветром, заваливает дно; молчит берег — очеревленная туша, напоказ выпятив вскрытое брюхо.

Пришел поезд и от пристани до станционной постройки вытянулась очередь. Дожидаючи парохода, взгромоздились на котомки, да разный свертыш, балакают. Рад воздух бабьим переспорам. Семен Семеныча все нет. Карась и Дрюнька — начальство сейчас на пристани, а и годов-то обоим тридцати не будет — покрикивают:

— Эй, дешевка, не напирай, сходни проломишь!

Толкуют с бабами, которые побойчее, о том, с каким пароходом те обратно поедут. У ребят промысел: милицию надувать.

Коротай и Темка приставлены для уловления, ну, а на свете устроено, что на всякий замок отмычка найдется.

Когда обратный пароход придет, и народ повалит к вокзалу — начинается проверка; тут - то вот Карась и Дрюнька помочь могут. Есть у них особый заулок, скрыто доставят к станции. Шибко ребята работали, пока на пристани только Коротай был (где ему, каплюшному человеку, все усмотреть, — он ружье волочит, а над ним смеются). Но вот Темку туда - же определили — и стало труднее. Темка дохожий парень, ходит днем и ночью в брезентовом (выдали ему такое пальто), за всем присмотрит, глазами-то семячки лузгает. За ребятами Темка положил особый надзор. А то, было, причальные ребята совсем расторговались; денег куча; в ножички когда играют, — так прокидываются — и хоть бы что...

— С вилочки!

— Мысиком!

Вертят пальцами старательно, надо ножик лезвием в землю вкопать. Игра мальчишья. А в деревне на карты с парнями — первые игроки.

— Знатно! Вот кабы Темка...

— Ты - бы сунул.

— Он сунет... в подвал! Места хватит.

И Дрюнька козыряет пальцами на станционный фундамент, по нему растянулась цепь окошечек, целый ряд их торчит, противные, тихие — серые мыши.

Клякса, обежав очередь, видит, как козыряет Дрюнька на подвальные окошечки. Не ей - ли это, что ему

надо? Задрав хвост, в'едается Клякса глазами в стекла, заседевшие от пыли; сверху они забиты проржавелой частой сеткой из проволоки. Сперва было одно оконце, потом сразу три, а вот и еще решеток набили. Новенькие, синие, будто сейчас из лавки. Недавно, значит, вставили. Не может понять Клякса: для чего это делается?

Растет сетка — плодливы серые мыши...

Раньше был просто подвал и окна разбиты, а в подвале метельные хвостья и рухлядь; над подвалом кухня — и повар Салим вкусные косточки курьи выбрасывал. Косточек не стало, а по привычке бродишь. Вдруг в прошлом годе началась стройка, рам понабили, вывели решетки, обладили заново подвал, и с тех пор плодится сетка. Коротай и Темка, подвальные хозяева, к оконцам не подпускают, а когда их нет, видно, что в подвале в два ряда сколочены нары, и меж нар бродят люди и у людей морды — мазаные, немытые. В жару оконца открыты; сплющивая о проволоку носы, люди тянутся из подвала на улицу, хочется им подышать, поразмяться — да не пускает решетка. Духота.

Странно... Жили бы, как Клякса. Хорошо жить.

Подвальные — бьются; в очереди скореженные бабы и прочий люд, закошевелый с дороги, от суеты и ожиданья — бьются; красная шайка бьется по станции... И все то лаются.

— Собачья жизнь...

Клякса вспомнила, что скоро ночь, и старик Пазов накормит щами; ей уже хочется есть, и от дрожи сдвигаются челюсти.

— Х - х - орошо.

У самых сходен первым — плотно сбитый мужик, кругом мужика бабий хоровод. Издали стать, так не мужик это, а дьячек нанизывает: аллилуия, аллилуия, аллилуия. Между разговоров мужик жует яблоки, оделяя ими то ребят, то баб.

— И столько народилось плода всякого: коробовки зернистой, сахарной; — смородинной ягоды... Да, больше мильона собрал. И не почато осталось, про запас, на домашнюю всякую надобность, на варенье, мочиво, да сушку. Все остатнее ребятам препоручил. Теперь у их приезжие купуют мой плод. Ребята деньги ровным стопочкам расклали да играют...

Мужик ухмыляется.

— З - забава малым. А деньги что... Вот одежу прирвал, не знаю и обрядиться чем.

Мужик - мордан желтым ногтем ковыряет сальную рыжую бороду.

— Вона как.

Очередь дремлет, положа голову на кошелки, вытянув ноги по щебню. Сопят люди в пудовом сне, деревянно свернувшись. Понасыпало на них пыли, и в сумерках она глядит изморозью, от нее закоковели люди - болвашки.

Дрюнька запалил фонарь у сходен.

— Гори, пиликалка.

От света проснулся маленький замохоренный, в сермяге и, вскочив, застрекотал приплясывая.

— Ой - ей, ноженьки заскомнули, обомлели милые... И зевнул.

Пожевать бы чего.

— Жевало, вон тебе подорожник, жуй.

— И - и милые, заради нужды брюхо уступочку сделает, сжуем всяко. Право — но, оголодал... Зара-

ботку сто пятнадцать в день — рази хватит? В столовой супчику похлебавши с проб-сом, как его... да кашки ложки три — жидюга... И-юх, мне бы да капитал!

В траве шевельнулась голова. Фонарь, вырвав ее из темноты, сглодал солдатскую фуражку, а под нею беспокойные глаза и тараканий шевелющий ус.

— Ну, и чтоб ты сделал?

Стрекотун, удивившись, даже на корточки присел.

— Как милый... с капиталом-то да рази пошел бы я в поденку? Обсеменился-бы...

Солдат дразнится.

— С-емя тоже...

И пыкнул.

— ...В прошлом годе, действительно, пофартило, Спекулянты одни знакомые близко жили; бывало, бутылки две спирту притащишь к ним, тогда еще дешев был, и начнем в карты играть...

— Везло что-ли?

— Известно. Карточки-то у меня свои, подкованные были...

Солдат задумался.

— ...Сто девяносто шесть тысяч собрал. Везло, да.

Стрекотун ахает.

— Да, сум-ба... Сто девяносто шесть тысяч. Куда-ды и девать?

— В Питере, то? Расплюешь живо.

— Вона...

И оба зевают.

Небо прозвездилось — глядит многоочная дева, шепчет ласково.

— Чем бы мне успокоить вас? Бьетесь вы...

Не слышат люди, ни себе не веря, ни деве. Трудно углядеть небо из нор, в крысьей возготне время ухо-

дит. Шевелются всюду, скребутся на воле и в неволе, везде продолбить надо дырочки, чтобы достать, выискать для утробы, а то помреть.

Немой воздух слушает вздохи.

В темноте вдруг зачавкал винт — водой давится. Свистнуло.

— ... И - ду - у.

Ополовел народ спросонья, свернулась очередь с двух концов, вздыбилась, загорелось нутро и пышет, на воду всех так и прет, заорали, каждый за свое добро, а чужому рвач, каждый первым пробиться хочет.

Карась побежал к причалам; зорко выскреб глазами реку и хохочет.

— Зря - а... Катер, пятый номер, с Кожаным ворочается...

Очередь осела, чертыхаясь, всех святых поминая и понося матерь. Снова протянулись по щебню деревянные ноги. Бьются болвашки, — как только не треснут.

Карась на лету подтянул канатом катер к пристани.

— С приездом, как поездили, Семен Семеныч!

Сперва вышел Кожаный, обмял ноги, оглядел через нос ребят и кивнул на них Семенычу.

— Кто такие?

Тот смеется: В юнгах у сухопутного капитана. Для причалу — ребята.

Ласкает Кожаный Караську, ерошит волосы на караськиной голове, а тому неприятно: что я, лошадь?..

— Устали, дети. Ничего, потерпи казак, будет отдых. Все для вас. Для вас, для будущего. То, что сейчас, — перестроится; и вы, и вам уж другая, новая жизнь.

А Дрюнька бурчит:

— Кому жисть, а кому и жестянка.

Мужик с сальной бородой поймал.

- Жестянка! Забавник.

И в первых рядах, хоть гоготать не смеют, а клекот петуший:

— ... Жестянка.

Дорогу Кожаному через очередь пробивают сам Пушков и Семен Семеныч.

Странен Семен Семеныч — ржавый якорь, кидается, зацепит, а некчему: трухлявое-то железо — в куски лохмится. И сам Семен Семеныч не знает, так ли он спрашивает, верно-ли?

— Эй, Темка, в линию что ли их свернуть?

Очередь гнется.

Кожаный с компанией идут через прослеженную поляну к пазовскому дому. Старик встречает на приступочке. Свет с мезонина лизнул лысину старика и сконфузившись потух.

— Пожалте, дорогие, столик собран... чем Бог послал... погреемся. С пути-то зябко. — Ты бы, Таечка, провела их милость умыться и мало-что с дороги. Мне старому не поспеть, голенки-то у меня...

За ужином Кожаный хвалит сиговую уху.

— Янтарная... Как люблю я наше русское, простое...

Пушков смеется.

— Ваш-ше русское... неужто-с...

Но Кожаный не слышит, нагнув голову на бок, он косится на полную таечкину грудь.

— ... Смачное, янтарное...

А Тайка нарочно играет плечами, брызжут за белой киссеей розовые волны.

Сперва выпили по маленькой, потом по большой.

Пазов молча обсасывает косточки.

Жжет горькая, бросаясь турманом в голову.

Тайка не отстает от мужчин. Нравится она Кожаному хмельной ухваткой. С такой бы девкой мир схряпал... Играют волны в Кожаном, и кажется ему — опять катер.

Офимья собирает со стола посуду.

— Хотела спросить вас, господин...

— Ну? — выпятил губы Кожаный.

— Про Бога я...

Пушков, егозя, похлопывает старуху по лопатке.

— Согрей - ка, Офимьюшка, самоварчик... а о Боге не хлопочи; говорил тебе, обрядится...

И смеется в лицо Кожаному, а тот всерьез.

— Странный вы... надо внедрять сознание в массы...

— Нельзя. Поманенечку надо с народом. Знаю я тяготу; кто в Карпатах был, тот знает... Сразу нет.

— Нет, товарищ, революция — скальпель хирурга, беспощадно взрезая...

Тая хмурится на Кожаного, потом на отца, — тот все косточки гложет.

— Вы - бы, папаша, спать шли.

— Иду, Таенька, дай кончить.

Кожаный ходит по столовой, спотыкаясь о половики, щурится на киот, на самовар, на Таю; играет розовая кисея, в кисее запутался винт.

— Ну, последнюю, — угощает Тайка.

Проглотили; хлюпнуло и ожгло. Кожаный нагибается к Тае. Она смеется.

— Нюхаете?

— Нюхаю... О, винтик... бурлит - бурлит.

И вдруг, вздернувшись, засерьезничал; шаркает по половикам, отщелкивая пальцами шаги.

— Так... Ваше отношение к власти?

Захлестнуло Тайку волною, купается в смехе.

— Вон его спросите... Власть...

Как я приемлю...

Кожаный тоже нырнул; ему тоже весело.

А Пушков виновато бормочет:

— Ы... Власть... я...

Так и хочется ему стукнуть Кожаного по носу. Не заигрывай!

Семен Семеныч наглаживает живот.

— Хорош был, жирен, был у меня капиталец...

И хлопает по капитальцу.

— Чревоугодием грешен. На нет сбежало, совсем обмелел. Что? А бывало с пароходной кухни первый кусок — кому? Семен Семенычу... Да... Знают-ли самолетские, завекевские? Знают, поводил их. Неужто не помнят Семен Семеныча? А вот пришвартовали годки и к пристани, об'якорел, старая крыса. А не хлопнуть-ли разгонную, а?

Кожаный рубит ножем скатерть.

— Революция — резкость, но освобождает, отрезая нагнивший пласт... Свобода...

Семен Семеныч сердится: чего там нарубает длинноносый.

— Плюю... слышишь. На черта лысого твоя свобода; никакой нет свободы. Ничего, брат, настоящего нет. Где настоящее? Не вижу, нет. Рабы, дисциплина — да. А свобода — зверь, анархия, грабь...

Впиваясь в Кожаного, Семен Семеныч режет ржавое железо, зляся.

— ... А-а не хочешь, не нравится. Правила пришел вводить новые. Такая твоя свобода? Свободному, брат, некогда думать о дозволении. А ты тоже... Можно чихнуть? а то не по декрету ли прикажете? Тоже, чертовы матери. Один есть закон...

На стук кулака звякнул графин.

— .. Морской устав. Издания, издания...

И голова, бритая ежиком, уснула.

Тая провожает Кожаного в спальню; — вон тут покойно будет.

Кожаного укачивают волны.

— Богатый дом... Папаша у вас славный старичек — хорошие деньги...

Путается голос в пышно-кисейных волнах.

Череп — пазовский двор оскалил рот с облупленными столбами. Луна с ним перехмыляется; о чем — не скажут; ни ему, ни ей речи не дано. Ночная немь. На крыльце Пушков напрасно смотрит в небо. Кто-то метнулся у него в ногах. Пушков тронул голенище — слюнявое. Клякса лижется.

— Прочь поди.

Проскрипела по лестнице Тайка.

— Ну? Ты чего здесь?

— Таечка, сердце болит. Ровно в Карпатах, как вспомню...

Луна, нащупав в потемках Пушкова, загляделась на его веснущатое лицо — дрожит яичница, пригорая под неверным лучом, — глаза брызжут, сгорит глазунья.

— Таечка, я для тебя, можно сказать, законную... Палашку забыл... Все... А с Кожаным...

— Ревнючка эдакая, да разве я...

— А нет? У — у...

И разлезлась яичница с радости, а лукавая финтиха Тайка мнет ее за обе щеки.

— Для дипломатии я, глупый. Выдумал тоже, чтобы я нюхача такого. Т-п...

Отплюнулась.

Теплится луна — ночная пересмешница; не для согреву улыбка ее; на любовном свету душа топится — масло на пару в запечье; томится плоть.

Расхлесгнулись руки и опять в узел сплело их. Глубже, крепче вяжи сладкая утеха. Оторвалась Тайка от Пушкова — замерла, охватил ее поцелуйный задох. И глаза у нее — две луны, мертвым жаром пышут.

Утренник серой уткой поднялся с лядин, из кряхтунов камышей. Солнце мигнуло за берегом: скоро, мол... Хлопотунья Свеяга наскоро правит молитву (успеть-бы до первого парохода)... А лысая поляна все еще дремлет, сладко позевывая. Сторожат ее серые мыши — тихие, противные молчуны. А за солнцем мигает и Темка, вылезая в своем безентовом. Ни на солнце, ни на Темку угомону нет, бесперечь глаза мозолят.

Небо-парун, а грозой не разбрешется. К подою опять невсносный жар; поту-то за день и в глотке першь. А уж мышам дотошная жизнь...

... Жестянка...

Душно.

Плющат подвалые нос о решетку, хоть каплю волюшки урвать, а и воля то — неволя, жестокая, забутененный вплотную клин.

Кожаный проснулся — зайцы жарким рыжим хвостом сон ему замели — не до сна. Подошел к окну папироской затянуться.

— При - ро - да...

Смотрит он на нее — и не поймет — не книжка тут; не приладишь к ней привычных очков — необ'емная, не принюхаешься — столько избяного мурева, проезжего; речного, да покосного запаху. Допытайся - ка: как будет, чем себя окажет?

Жмурясь от угревного света, выбрел Кожаный на двор, тянет в тень, к скотной избе. Там хлопочет с Офимьей. Туфли у Таи на босу ногу, ситчиковый капот по телу бьется, полстится, утайку кажет. Солнце целует Таю, размиловывает.

Чудится Кожаному розовая кипень, мякоть волн. Нырком бы клюнуть туда...

Ветер жмет Тайку, в обнимку с нею балуется. А она ежится, куркает кошкой: не то солнцу, не то ветру, не то старой Офимье.

Кожаный окликнул Тайку, а она вспять — к свиному стойлу; стыдится нарядная затрапезного вида. Да не Кожаного стыд — девичий; прижал он капотец к стойлу и смущает. Опомнилась Тая, грозит Кожаному лукавым пальцем, а локотки — розовый пух — заманивают.

Клякса гогочет под ногами, валяя в навозе шерсть; поймала веревку - вьюн в зубы, — и рычит, да роет, дергает. Тая Кляксу ногой и так, и сяк... Не согнать подлую — разыгралась, лапами роет землю, взметая пыль. Тайка ее бить, а она знай прискакивает, скалится, немазанный бес, и опять в веревку вцепилась. Вот - то Кожаного наведет на радугу. Тае жарко, пасмурно — гроза дрогнуть может, мерещится потаенная радуга, спотыкается Тая глазами то о Кляксу, то о Кожаного... И надумала червонная хаханьями отвести тучу:

— Ф-фы, фу.

— Ой, вы понюхайте немножко... я как молочная.

Опарило Кожаного, захотелось капотец смять, — только шагу, как зарынгачит Клякса, земля под нею уминается, шухнет — ох, брызнет радуга.

— Что это она веревку дергает?

Тайка, не отвечая, ладоньями-печатями рот Кожаному замыкает. До расспросов ли, ежели у веревочки радуга. Тая ласково жмется к кобыляку, а он холодный... Дрогнули у Таи руки. Заглянув Тайке в глаза, выкрав все потайное, Кожаный шмыгнул носом.

— О!

И скинув с плеч — бросил на землю девичью ласку.

— Го!

На дворе по приказу Кожаного наводится следствие.

А Пазов дома елозит перед киотом, ищет чуда.

— Отцы всечестные, личе богокрасный, чудес источницы, сокровища краснобогатые, Господни, в земле сокровенные...

Стукнет лбом о шершавый пол и прислушается: что на дворе делают.

Там Пушков осерчал голосом, с понятыми кукует, всех их умалял ругней своей Кожаный. И кажется старику: не к добру — не даром колени ныли.

— ... Не престайте, молим вы, о нас молитися...

Заступом — чуть не по лысине — отдается старику. И не старик уж он, а чушка лобанистая.

— Расхрястают, подлецы.

Снова бьет головой, хочет чудо выбить. Верит старый.

— Укрой, Владыко.

Кожаный крикнул... И слышится Пазову вслед истошный Тайкин клич.

— Мое! Мое — слышишь, каторжный. Не отдам, хоть режь.

Поднимает Пазов с пола замороженные колени — не гнутся.

— Открыли радугу.

Высунувшись из окна во двор, видит: Тайка ударила по лицу Кожаного — и раз и два... Пошатился тот, освирепел.

— Связать ее.

У Пазова подломились ноги: — беда с Тайкой, беда с радугой... Обнажили потаенное, вырыли береженую радугу.

И Пазов, смотря на небо, где за облачным перелогом прячется Седой, колко торкает его своим струганьем.

— Зря молил Тебя, зря...

И хочется ему так харкнуть, чтобы харкота влепилась, вмокла в звезды, в звезды — небесные очи.

Но нет звезд, нет многоочной девы, и сказать некому:

— Чем вас успокою? Бьетесь вы.

Кожаного провожают на станцию. Еще час есть до отхода; в телеграфной устроено совещание. Там Пушков, со всем своим подголосьем, хмуро слушает, как Кожаный нарубает речь ломтиками.

— ... Революция — безжалостный скальпель хирурга. Перекроить. Переделать. Наново. Вы не знаете: народ готов...

Томится Пушков о Тае.

А под столом ловит блох Клякса и нюхает у Кожаного сапоги: хорошо пахнут.

Кончил Кожаный — и слышит Клякса, как Пушков снова просит за Таю, а Кожаный хорохорится. Посту-

чат по столу, погрызутся и опять вспомнят про подвал и Тайку.

Пришли на ум Кляксе серые мыши: повертела хвостом, не додумала; надо идти пароход встречать. Побежала Клякса к народу, тот чохом тянется — ругань виснет. Сапогами щелкают по морде — не пробраться. Прямо по дороге, проверка идет; влипают в мед залетные мухи. Осторожная баба в бумажках своих из'яну боится; правильные - то где достанешь? Осторожную бабу Дронька ведет; много их — пожива ребятам. Пробираются бабы задним проулком, мимо пазовского частокола, натружают ноги по камешу, по ухабу. Кряхтят бабы под мешками; каждой хочется свой схоронить. Иная чуть не окорачь ползет, а туда же — топорщится. Им бы только Темку надуть.

Не они, а Темка накрыл у заулка в стенах. Знатную выгреб тоню. — Отличился Темка перед Кожаным.

Дрюпька, точно ополоумев, зубастым щенком вцепился в брезентовое и молит:

— Темочка, милый, отпусти... Я тебя поцелую. Поцелую — отпусти.

Темка быркает ногами.

— Будет тебе шиковать. Чего сдурел, поцелуйщик; ужо в подвале нацелуемся, попреешь там. Спекулятничать мастера. А тут — на...

Уж два дня как уехал Кожаный.

Семен Семеныч сидит на пристани, гладит Кляксу.

— Хорошо тебе, шельме, на всем готовом.

Пожевав табак за щекой, выплюнул ржавую жвачку.

— А он свободу нашел... Народ - де готов. Рожи, чортовы матери... Ослеп я, что - ли, не вижу — где?

Паршивцы все, теремная команда; оглохли ради живота по всему меридиану.

Караське скучно, он наколачивает ногами по свае.

Я на бо-очке сижу,
Да бочка вер-тит-а-ся.
Ах, я у Ленина служу,
Да Троцкий сер-дит-а-ся.
А — уюх. —

Тырли бутырли, тырли бутырли, да тырли бутырли... Тырли буты.

Семен Семеныч кулаками потряс, якорь с досады забрасывая.

— И не пожалеешь Дрюньку, ах?.. А? А каково ему, бедняге? Да...

— Отпустят его, Семен Семеныч. Воротай болтал, правда знать.

Старик крестит рот и косится на станцию, на серых тихих мышей.

— И Таечку бы отпустили... Дай, Боже.

Ночи совсем безросные. И нет избавленья. Хоть бы треск какой, разодрало бы небесные холсты — и в благодати утонула бы земля. Не заговорит немое небо дождем. Расщепилась в корки земляная мякоть, гарь пробилась. Ест горло синяя першь. Запалилась сухерь — не приведи... Лес-то ровно смоляная лучина нащебана. Ярые языки, вылизав траву, добрались до сосны, до березовой коряки; махом вбегают лизуны по стволу, мимо зеленых уборов, и на верхушках, гогоча в набухшее небо, сгорают.

Молчит берег — гнилая туша, немуют грызуны — подвальная тишь.

Карась трюкается со сваи и слёдит, как бродит в ночной черни глаз темкиной трубки. Вот он прохажи-

вается вдоль лысого луга, режет шагами дорогу от вок зала до пристани.

Идет поперек пятном. Солнце за месяцем, месяц за солнцем в смену; теперь сравняла их гарь... — назойливый глаз темкиной трубки.

— Пойду подразнить, что-ли...

Через минуту Караська орет с другого конца.

— Ах, я от бочки да ни куды.
А под-е-а бочкой ка-ша.
Да вы — не думайте . . .

Задуло песню темкиной руганью, но вот снова трещит — еловые в костре пыжутся.

— Что Рассея ва-ша . . .

Ах-тех, тырли бутырли, да тырли буты?

И там, где серые молчуны, много скучных глаз режутся о решетку, тоскуя, липнут к ней пересохшим ртом от ночи до утра; без народа еще страшнее лысая избитая поляна.

И слышится Семен Семенычу: будто Дрюнька в ответ на песню кричит оттуда, из-за мышей. —

— ... Душно...

1921 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ